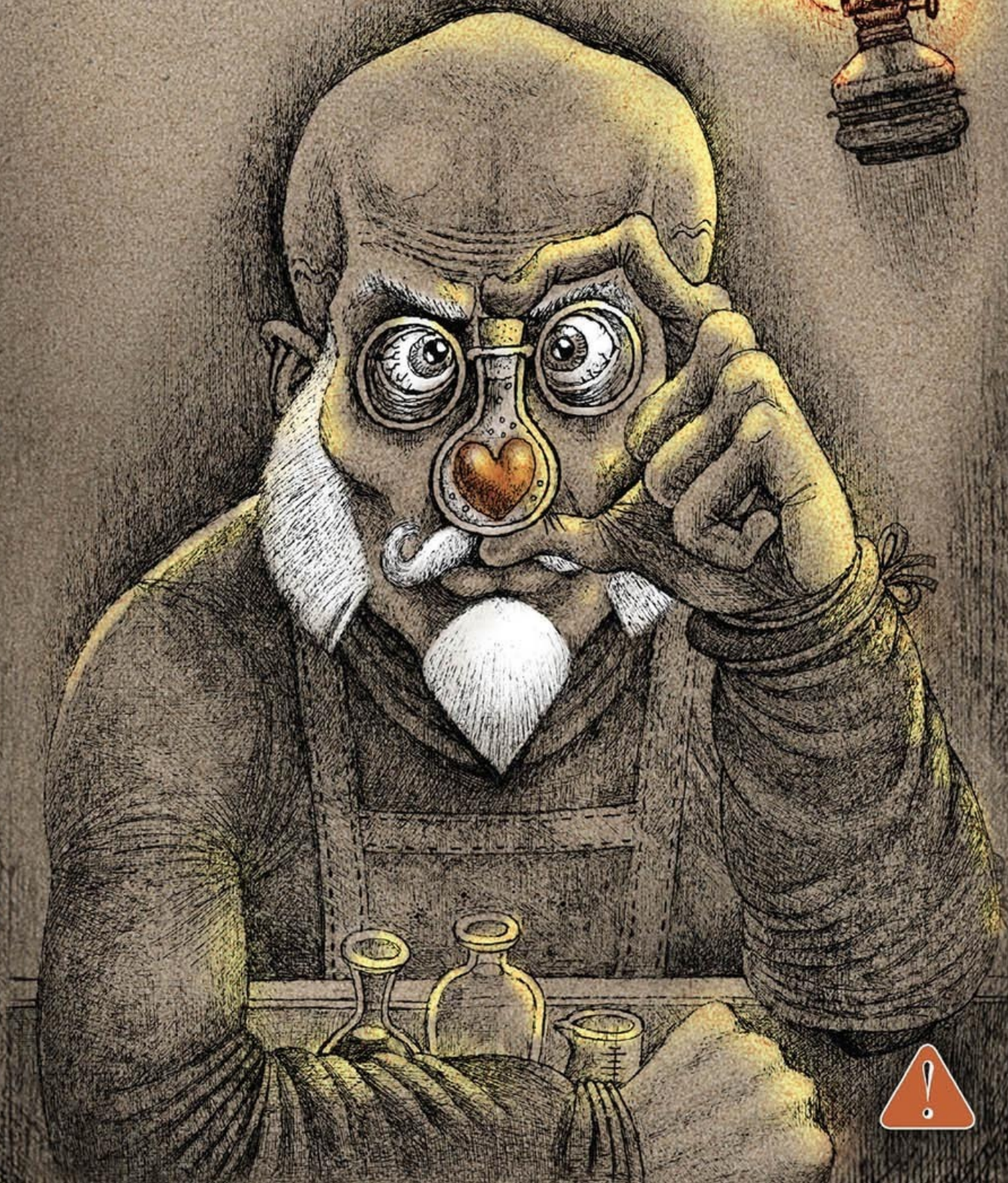


18+

ПРИВОРОТНОЕ ЗЕЛЁ

ФАРМАКОЛОГИЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ



Коллектив авторов

**Приворотное зелье. Фармакология
в классической литературе**

Издательский дом «Городец»

Коллектив авторов

Приворотное зелье. Фармакология в классической литературе /
Коллектив авторов — Издательский дом «Городец»,

ISBN 978-5-907982-94-9

Фармакология — своего рода мостик между жизнью и смертью, а потому от древних алхимиков до современных аптек ее окутывает туман таинственности. Образ литературного фармацевта в русской и зарубежной классике необычный и загадочный, иногда пугающий, временами комичный, чему во многом способствуют «особые знания» фармацевта, позволяющие исцелять и губить в бесконечных попытках человечества найти средство для достижения бессмертия.

ISBN 978-5-907982-94-9

© Коллектив авторов
© Издательский дом «Городец»

Содержание

Антон Чехов	7
В аптеке	8
Аптекарьша	11
Индийский петух: Маленькое недоразумение	16
Николай Лесков	21
Владимир Соллогуб	53
Конец ознакомительного фрагмента.	64



Приворотное зелье. Фармакология в классической литературе Сборник

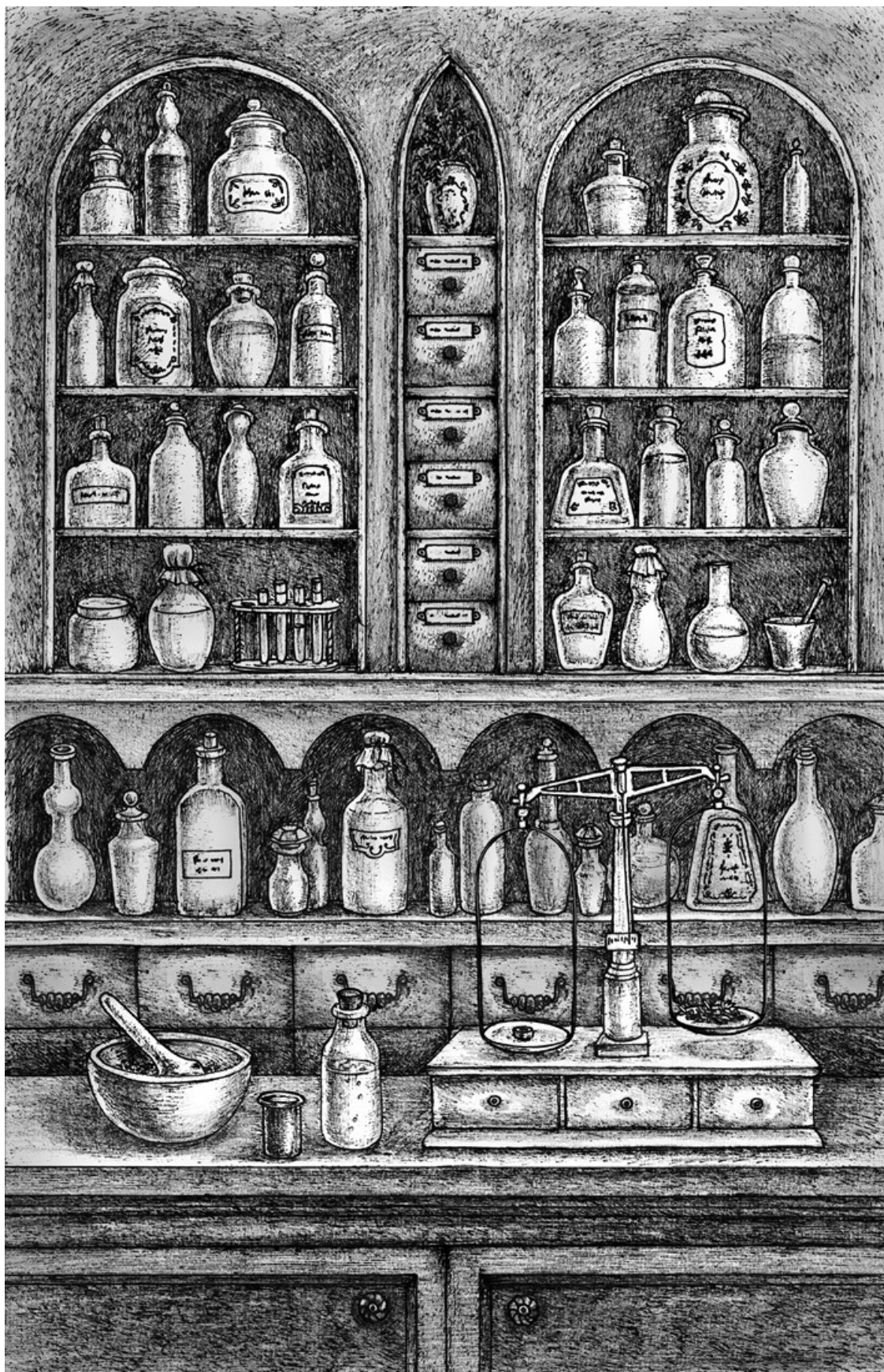
© О. Макеева, Г. Шокин, перевод, 2026

© В. Денисова, иллюстрации, обложка, 2026

© ИД «Городец», 2026

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Антон Чехов



В аптеке

Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку.

«Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, – думал он, взбираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. – Ступить страшно!»

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За желтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами – по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, все на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решеткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две темные фигуры. Свойкин подошел к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт, дочитал в газете до точки и, сделавши легкий полуоборот головы направо, пробормотал:

– Calomeli grana duo, sacchari albi grana quinque, numero decem!¹

– Ja!² – послышался из глубины аптеки резкий, металлический голос.

Провизор продиктовал тем же глухим, мерным голосом микстуру.

– Ja! – послышалось из другого угла.

Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.

– Через час будет готово, – процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.

– Нельзя ли поскорее? – пробормотал Свойкин. – Мне решительно невозможно ждать.

Провизор не ответил. Свойкин опустил на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щелкнул ключом. В глубине одна из темных фигур завозила около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы.

Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флер, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове... Разбитость и головной туман овладевали его телом все больше и больше, так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором...

– Должно быть, у меня горячка начинается, – сказал он. – Доктор сказал, что еще трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб... Еще счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!

Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкина он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал... Кассир громко зевнул и чиркнул о панталоны спичкой... Стук мраморной ступки становился все громче и звонче.

¹ Каломели два грана, сахару пять гран, десять порошков! (лат.)

² Да! (нем.)

Видя, что его не слушают, Свойкин поднял глаза на полки с банками и принялся читать надписи... Перед ним замелькали сначала всевозможные «радиксы»: генциана, пимпинелла, торментилла, зедоария и проч. За радиками замелькали тинктуры, oleum'ы, semen'ы, с названиями одно другого мудренее и допотопнее.

«Сколько, должно быть, здесь ненужного балласта! – подумал Свойкин. – Сколько рутины в этих банках, стоящих тут только по традиции, и в то же время как все это солидно и внушительно!»

С полок Свойкин перевел глаза на стоявшую около него стеклянную этажерку. Тут увидел он резиновые кружочки, шарики, спринцовки, баночки с зубной пастой, капли Пьерро, капли Адельгейма, косметические мыла, мазь для ращения волос...

В аптеку вошел мальчик в грязном фартуке и попросил на 10 коп. бычачьей желчи.

– Скажите, пожалуйста, для чего употребляется бычачья желчь? – обратился учитель к провизору, обрадовавшись теме для разговора.

Не получив ответа на свой вопрос, Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-ученую физиономию провизора.

«Странные люди, ей-богу! – подумал он. – Чего ради они напускают на свои лица ученый колер? Дерут с ближнего втридорога, продают мази для ращения волос, а глядя на их лица, можно подумать, что они и в самом деле жрецы науки. Пишут по-латыни, говорят по-немецки... Средневековое из себя что-то корчат... В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, черствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснешься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной уютной фигуры...»

Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь, во что бы то ни стало, подальше от света, ученой физиономии и стука мраморной ступки... Болезненное утомление овладело всем его существом... Он подошел к прилавку и, соорудив умоляющую гримасу, попросил:

– Будьте так любезны, отпустите меня! Я... я болен...

– Сейчас... Пожалуйста, не облакачивайтесь!

Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.

«Полчаса еще только прошло, – подумал он. – Еще осталось столько же... Невыносимо!»

Но вот, наконец, к провизору подошел маленький, черненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью... Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами... Засим он написал сигнатуру, привязал ее к горлышку склянки и потянулся за печаткой...

«Ну, к чему эти церемонии? – подумал Свойкин. – Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут».

Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.

– Получите! – проговорил он наконец, не глядя на Свойкина. – Внесите в кассу рубль шесть копеек!

Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки...

– Рубль шесть копеек? – забормотал он, конфузясь. – А у меня только всего один рубль... Думал, что рубля хватит... Как же быть-то?

– Не знаю! – отчеканил провизор, принимаясь за газету.

– В таком случае уж вы извините... Шесть копеек я вам завтра занесу или пришлю...

– Этого нельзя... У нас кредита нет...

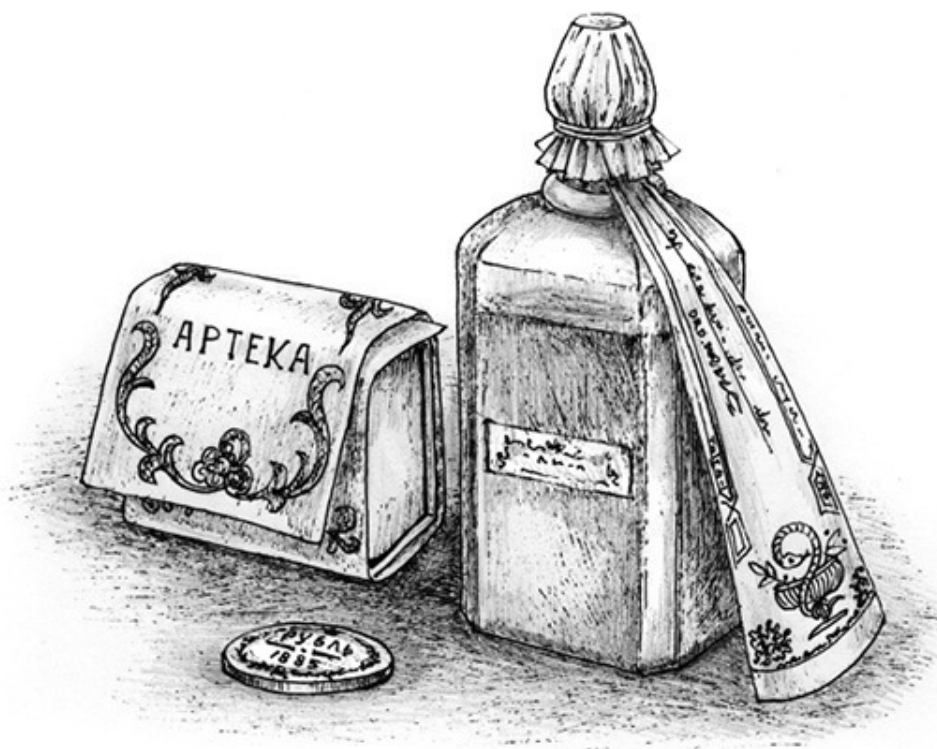
– Как же мне быть-то?

– Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите.

- Пожалуй, но... мне тяжело ходить, а прислать некого...
- Не знаю... Не мое дело...
- Гм... – задумался учитель. – Хорошо, я схожу домой...

Свойкин вышел из аптеки и отправился к себе домой... Пока он добрался до своего номера, то сиделся отдыхать раз пять... Придя к себе и найдя в столе несколько медных монет, он присел на кровать отдохнуть... Какая-то сила потянула его голову к подушке... Он прилег, как бы на минутку... Туманные образы в виде облаков и закутанных фигур стали завлакивать сознание... Долго он помнил, что ему нужно идти в аптеку, долго заставлял себя встать, но болезнь взяла свое. Медяки высыпались из кулака, и больному стало сниться, что он уже пошел в аптеку и вновь беседует там с провизором.

Аптекарша



Городишко Б., состоящий из двух-трех кривых улиц, спит непробудным сном. В застывшем воздухе тишина. Слышно только, как где-то далеко, должно быть, за городом, жидким, охрипшим тенорком лает собака. Скоро рассвет.

Все давно уже уснуло. Не спит только молодая жена провизора Черномордика, содержателя б-ской аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идет к ней – и неизвестно отчего. Сидит она у открытого окна, в одной сорочке, и глядит на улицу. Ей душно, скучно, досадно... так досадно, что даже плакать хочется, а отчего – опять-таки неизвестно. Какой-то комок лежит в груди и то и дело подкатывает к горлу... Сзади, в нескольких шагах от аптекарши, прикорнув к стене, сладко похрапывает сам Черномордик. Жадная блоха впилась ему в переносицу, но он этого не чувствует и даже улыбается, так как ему снится, будто все в городе кашляют и непрерывно покупают у него капли датского короля. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни ласками.

Аптека находится почти у края города, так что аптекарше далеко видно поле... Она видит, как мало-помалу белеет восточный край неба, как он потом багровеет, словно от большого пожара. Неожиданно из-за отдаленного кустарника выползает большая, широколистая луна. Она красна (вообще луна, вылезая из-за кустов, всегда почему-то бывает ужасно сконфужена).

Вдруг среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги и звяканье шпор. Слышатся голоса. «Это офицеры от исправника в лагерь идут», – думает аптекарша.

Немного погодя показываются две фигуры в белых офицерских кителях: одна большая и толстая, другая поменьше и тоньше... Они лениво, нога за ногу, плетутся вдоль забора и громко разговаривают о чем-то. Поравнявшись с аптекой, обе фигуры начинают идти еще тише и глядят на окна.

– Аптекой пахнет... – говорит тонкий.

– Аптека и есть! Ах, помню... На прошлой неделе я здесь был, касторку покупал. Тут еще аптекарь с кислым лицом и с ослиной челюстью. Вот, батенька, челюсть! Такой именно Сампсон филистимлян избивал.

– М-да... – говорит толстый басом. – Спит фармация! И аптекарша спит. Тут, Обтесов, аптекарша хорошенькая.

– Видел. Мне она очень понравилась... Скажите, доктор, неужели она в состоянии любить эту ослиную челюсть? Неужели?

– Нет, вероятно, не любит, – вздыхает доктор с таким выражением, как будто ему жаль аптекаря. – Спит теперь мамочка за окошечком! Обтесов, а? Раскинулась от жары... ротик полуоткрыт... и ножка с кровати свесилась. Чай, болван аптекарь в этом добре ничего не смыслит... Ему, небось, что женщина, что бутылка с карболкой – все равно!

– Знаете что, доктор? – говорит офицер, останавливаясь. – Давайте-ка зайдем в аптеку и купим чего-нибудь! Аптекарьшу, быть может, увидим.

– Выдумал – ночью!

– А что же? Ведь они и ночью обязаны торговать. Голубчик, войдемте!

– Пожалуй...

Аптекарьша, спрятавшись за занавеску, слышит сиплый звонок. Оглянувшись на мужа, который храпит по-прежнему сладко и улыбается, она набрасывает на себя платье, надевает на босую ногу туфли и бежит в аптеку.

За стеклянной дверью видны две тени... Аптекарьша припускает огня в лампе и спешит к двери, чтобы отпереть, и ей уже не скучно, и не досадно, и не хочется плакать, а только сильно стучит сердце. Входят толстяк доктор и тонкий Обтесов. Теперь уж их можно рассмотреть. Толстобрюхий доктор смугл, бородат и неповоротлив. При каждом малейшем движении на нем трещит китель и на лице выступает пот. Офицер же розов, безус, женоподобен и гибок, как английский хлыст.

– Что вам угодно? – спрашивает их аптекарша, придерживая на груди платье.

– Дайте... эээ... на пятнадцать копеек мятных лепешек!

Аптекарьша не спеша достает с полки банку и начинает вешать. Покупатели, не мигая, глядят на ее спину; доктор жмурится, как сытый кот, а поручик очень серьезен.

– Первый раз вижу, что дама в аптеке торгует, – говорит доктор.

– Тут ничего нет особенного... – отзывается аптекарша, искоса поглядывая на розовое лицо Обтесова. – Муж мой не имеет помощников, и я ему всегда помогаю.

– Так-с... А у вас миленькая аптечка! Сколько тут разных этих... банок! И вы не боитесь вращаться среди ядов! Бррр!

Аптекарьша запечатывает пакетик и подает его доктору. Обтесов подает ей пятиалтынный. Проходит полминуты в молчании... Мужчины переглядываются, делают шаг к двери, потом опять переглядываются.

– Дайте на десять копеек соды! – говорит доктор.

Аптекарьша опять, лениво и вяло двигаясь, протягивает руку к полке.

– Нет ли тут, в аптеке, чего-нибудь этакого... – бормочет Обтесов, шевеля пальцами, – чего-нибудь такого, знаете ли, аллегорического, какой-нибудь живительной влаги... зельтерской воды, что ли? У вас есть зельтерская вода?

– Есть, – отвечает аптекарша.

– Bravo! Вы не женщина, а фея. Сочините-ка нам бутылочки три!

Аптекарьша торопливо запечатывает соду и исчезает в потемках за дверью.

– Фрукт! – говорит доктор, подмигивая. – Такого ананаса, Обтесов, и на острове Мадейре не сыщете. А? Как вы думаете? Однако... слышите храп? Это сам господин аптекарь изволят почивать.

Через минуту возвращается аптекарша и ставит на прилавок пять бутылок. Она только что была в погребке, а потому красна и немножко взволнованна.

– Тсс... тише, – говорит Обтесов, когда она, раскупорив бутылки, роняет штопор. – Не стучите так, а то мужа разбудите.

– Ну, так что же, если и разбужу?

– Он так сладко спит... видит вас во сне... За ваше здоровье!

– И к тому же, – басит доктор, отрывивая после зельтерской, – мужья такая скучная история, что хорошо бы они сделали, если б всегда спали. Эх, к этой водичке да винца бы красненького!

– Чего еще выдумали! – смеется аптекарша.

– Великолепно бы! Жаль, что в аптеках не продают спиритуозов! Впрочем... вы ведь должны продавать вино как лекарство. Есть у вас *vinum gallicuni rubrum*?³

– Есть.

– Ну вот! Подавайте нам его! Черт его подери, тащите его сюда!

– Сколько вам?

– *Quantum satis!*..⁴ Сначала вы дайте нам в воду по унцу, а потом мы увидим... Обтесов, а? Сначала с водой, а потом уже *per se*..⁵

Доктор и Обтесов присаживаются к прилавку, снимают фуражки и начинают пить красное вино.

– А вино, надо сознаться, препаскуднейшее! *Vinum plochissimum!* Впрочем, в присутствии... эээ... оно кажется нектаром. Вы восхитительны, сударыня! Целую вам мысленно ручку.

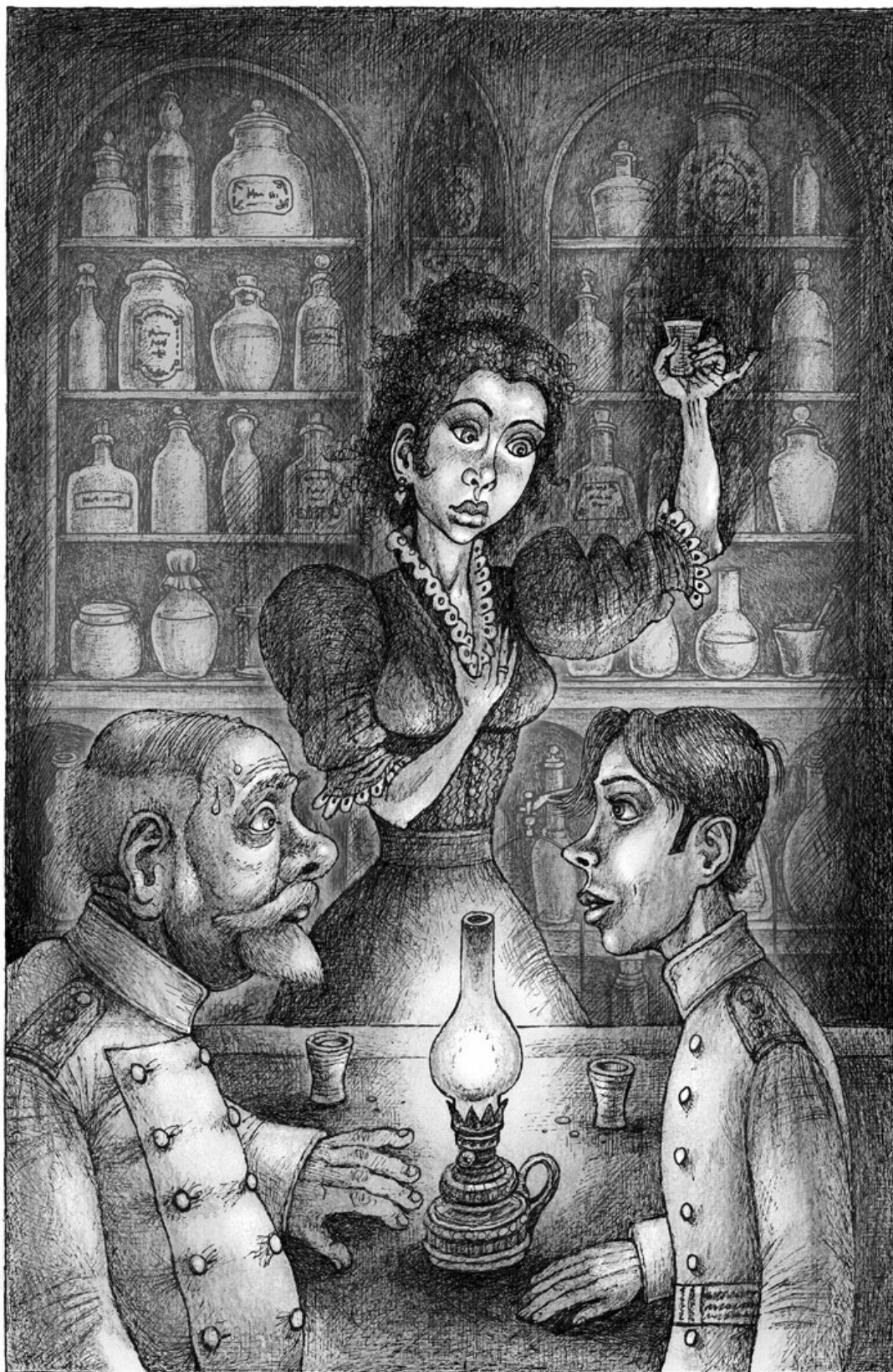
– Я дорого дал бы за то, чтобы сделать это не мысленно! – говорит Обтесов. – Честное слово! Я отдал бы жизнь!

– Это уж вы оставьте... – говорит госпожа Черномордик, вспыхивая и делая серьезное лицо.

³ Красное французское вино (*лат.*).

⁴ Сколько потребуется!.. (*лат.*)

⁵ Чистого... (*лат.*)



— Какая, однако, вы кокетка! — тихо хохочет доктор, глядя на нее исподлобья, плутовски. — Глазенки так и стреляют! Пиф! паф! Поздравляю: вы победили! Мы сражены!

Аптекарьша глядит на их румяные лица, слушает их болтовню и скоро сама оживляется. О, ей уже так весело! Она вступает в разговор, хохочет, кокетничает и даже, после долгих просьб покупателей, выпивает унца два красного вина.

– Вы бы, офицеры, почаще в город из лагерей приходили, – говорит она, – а то тут ужас какая скука. Я просто умираю.

– Еще бы! – ужасается доктор. – Такой ананас... чудо природы и – в глуши! Прекрасно выразился Грибоедов: «В глушь! в Саратов!» Однако нам пора. Очень рад познакомиться... весьма! Сколько с нас следует?

Аптекарьша поднимает к потолку глаза и долго шевелит губами.

– Двенадцать рублей сорок восемь копеек! – говорит она.

Обтесов вынимает из кармана толстый бумажник, долго роется в пачке денег и расплачивается.

– Ваш муж сладко спит... видит сны... – бормочет он, пожимая на прощанье руку аптекарши.

– Я не люблю слушать глупостей...

– Какие же это глупости? Наоборот... это вовсе не глупости... Даже Шекспир сказал: «Блажен, кто смолоду был молод!»

– Пустите руку!

Наконец покупатели, после долгих разговоров, целуют у аптекарши ручку и нерешительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходят из аптеки.

А она быстро бежит в спальню и садится у того же окна. Ей видно, как доктор и поручик, выйдя из аптеки, лениво отходят шагов на двадцать, потом останавливаются и начинают о чем-то шептаться. О чем? Сердце у нее стучит, в висках тоже стучит, а отчего – она и сама не знает... Бьется сердце сильно, точно те двое, шепчась там, решают его участь.

Минут через пять доктор отделяется от Обтесова и идет дальше, а Обтесов возвращается. Он проходит мимо аптеки раз, другой... То остановится около двери, то опять зашагает... Наконец осторожно звякает звонок.

– Что? Кто там? – вдруг слышит аптекарша голос мужа. – Там звонят, а ты не слышишь! – говорит аптекарь строго. – Что за беспорядки!

Он встает, надевает халат и, покачиваясь в полусне, шлепая туфлями, идет в аптеку.

– Чего... вам? – спрашивает он у Обтесова.

– Дайте... дайте на пятнадцать копеек мятных лепешек.

С бесконечным сопеньем, зевая, засыпая на ходу и стуча коленями о прилавок, аптекарь лезет на полку и достает банку...

Спустя две минуты аптекарша видит, как Обтесов выходит из аптеки и, пройдя несколько шагов, бросает на пыльную дорогу мятные лепешки. Из-за угла навстречу ему идет доктор... Оба сходятся и, жестикулируя руками, исчезают в утреннем тумане.

– Как я несчастна! – говорит аптекарша, со злобой глядя на мужа, который быстро раздевается, чтобы опять улечься спать. – О, как я несчастна! – повторяет она, вдруг заливаясь горькими слезами. – И никто, никто не знает...

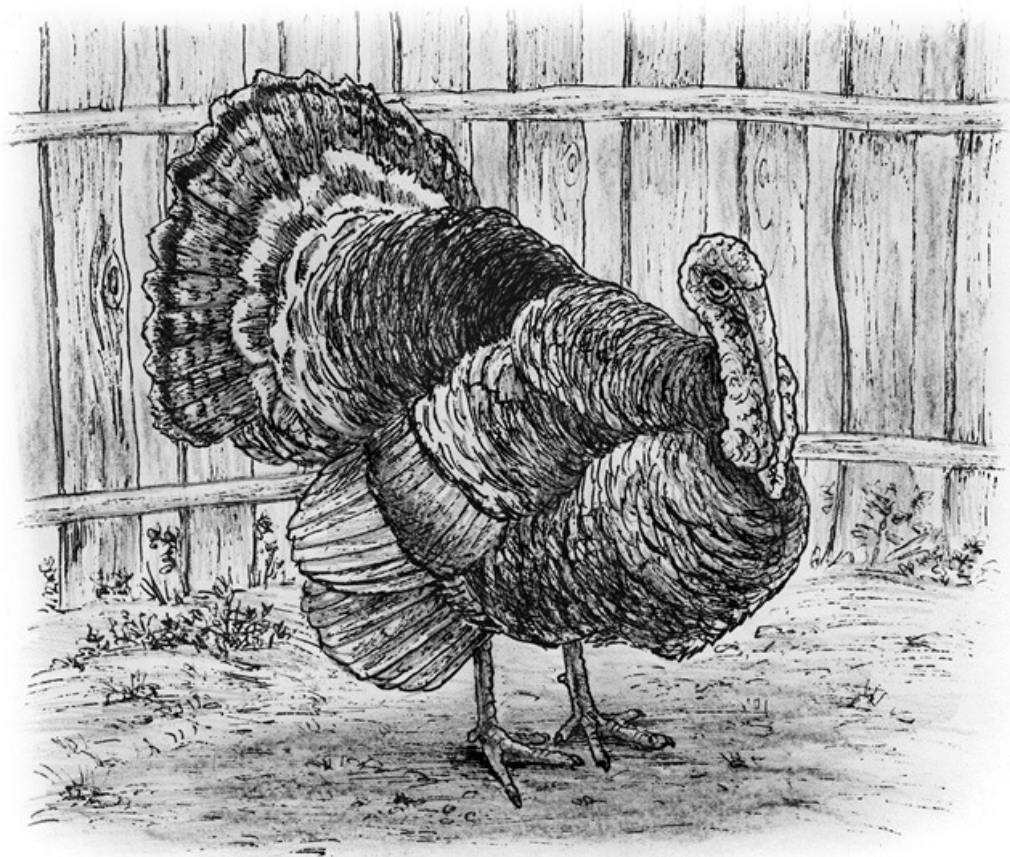
– Я забыл пятнадцать копеек на прилавке, – бормочет аптекарь, укрываясь одеялом. – Спрячь, пожалуйста, в конторку...

И тотчас же засыпает.

Индийский петух: Маленькое недоразумение



– Чучело ты, чучело! Образина ты лысая! – говорила однажды Пелагея Петровна своему супругу, отставному коллежскому секретарю Маркелу Ивановичу Лохматову. – У всех мужья как мужья, одну только меня господь наказал сокровищем-лежебоком! У сестры Глашеньки муж и носки штопает, и кур кормит, и за провизией на рынок ходит. Прасковьи Ивановнин муж, и что это за человек! – только и ищет, чем бы жене своей угодить: то клопов из кроватей вываривает, то шубу выбивает, чтоб моль не поела, то рыбу чистит. Один только ты у меня, нечистый тебя знает, в кого уродился! День-деньской лежишь, как анафема, на диване и только и знаешь, что водку трескаешь да про Румелию балясы точишь!..



– Что же мне делать? – робко спросил Маркел Иванович.

– Что делать! Да мало ли делов? Куда в хозяйстве ни сунься, везде дело. Взять хоть индейского петуха. Уж неделя, как тварь не пьет, не ест... вот-вот издохнет, а тебе и горя мало, наказание ты мое! У, так и тресну по уху! А ведь петух-то какой! Гора, а не петух! За пять рублей другого такого не купишь!

– Что же мне, тово... с петухом делать? Не к доктору же с ним идти!

– Зачем к доктору? Доктора не обучены птицам... Ты у людей порасспроси... Люди все знают... А то и сам бы, дуралей, своим умом пораскинул, как и что. В аптеку бы ходил. В аптеке много лекарств!

– Пожалуй, я схожу в аптеку, – согласился Лохматов. – Пожалуй.

– И сходи! Дайте, скажи, мне на десять копеек крепительного!

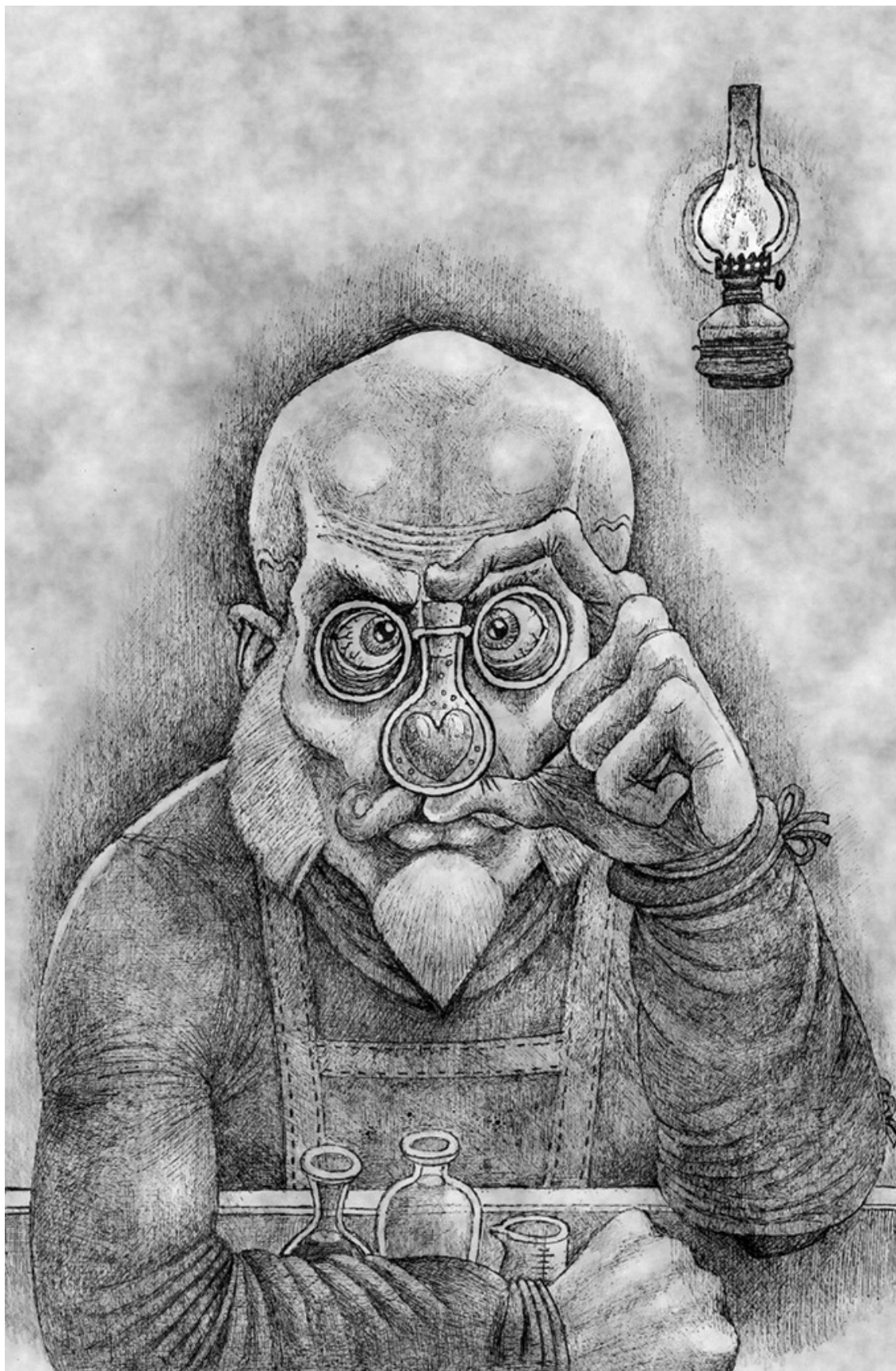
Маркел Иванович лениво поднялся с дивана, вздохнул и стал натягивать на себя панталоны (когда он сидит дома, Пелагея Петровна из экономии держит его в одном нижнем). Он был выпивши, в голове его от одного виска к другому перекатывалась тяжелая, свинцовая пуля, но мысль, что он идет сейчас делать дело, подбодрила его. Одевшись, он взял трость и степенно зашагал к аптеке.

– Вам что угодно? – спросил его в аптеке толстый лысый провизор с большими, пушистыми бакенами.

– Мне чего-нибудь этакого... – начал робко Маркел Иванович, почтительно глядя на пушистые бакены. – У меня, собственно говоря, нет рецепта, и я сам не знаю, что мне нужно, может быть, вы мне посоветуете что-нибудь.

– Да, а что случилось?

– Дело в том, что уж неделя, как не пьет, не ест. Все время, знаете ли, слабит. Скучный такой, унылый, словно потерял что-нибудь или совесть нечиста.



Провизор приподнял углы губ, прищурился и обратился в слух. Фармацевты вообще любят, когда к ним обращаются за медицинскими советами.

– А... гм... – промычал он. – Жар есть?

– Этого я вам не могу сказать, не знаю... Уж вы будьте такие добрые, дайте чего-нибудь. Верите ли? Смотреть жалко! Был здоров, ходил по двору, а теперь на тебе! – ни с того ни с сего нахмурился, наершился и из сарая не выходит.

– В сарае нельзя... Теперь холодно.

– Хорошо, мы его в кухню возьмем... А жалко будет, ежели тово... околеет. Без него индейки жить не могут.

– Какие индейки? – вытаращил глаза провизор.

– Обыкновенные... с перьями.

– Да вы про кого говорите?

– Про индейского петуха.

На лице провизора изобразилось «тьфу!». Углы губ опустились, и по строгому лицу пробежала тучка.

– Я... не понимаю, – обиделся провизор.

– Не понимаете, какой это индейский петух? – в свою очередь не понял Лохматов. – Есть обыкновенные петухи, что с курами ходят, а то индейский... большой такой, знаете ли, с хоботом на носу... и еще так посвистишь ему, а он растопырит крылья, нахохлится и – блы-блы-блы...

– Мы индюков не лечим... – пробормотал провизор, обидчиво отводя глаза в сторону.

– Да их и лечить не нужно... Дать какого-нибудь пустяка и больше ничего... Ведь это не человек, а птица... и от пустяка поможет.

– Извините, мне некогда.

– Я знаю, что вам некогда, но сделайте такое одолжение! Что вам стоит дать чего-нибудь? Чего хотите, то и дайте, я не стану разговаривать. Будьте столь достолюбезны!

Просительный тон Маркела Ивановича тронул провизора. Он опять нахмурился, поднял углы губ и задумался.

– Вы говорите, что не пьет, не ест... что его слабит?

– Да-с... Крепительного чего-нибудь.

– Погодите, я сейчас.

Провизор отошел к шкафчику, достал оттуда какую-то книгу и погрузился в чтение. Лицо его приняло сократовское выражение, и на лбу собралось так много морщин, что Маркел Иванович, глядя на него, побоялся, как бы от напряжения кожи не порвалась провизорская лысина.

– Я вам порошок дам, – сказал провизор, кончив чтение.

– Покорнейше вас благодарю. Только, извините за выражение, как я ему этот порошок дам? Ведь он не клюет! Ежели бы он понимал свою пользу, а то ведь птица глупая, нерассудительная. Положишь перед ним порошок, а он и без внимания.

– В таком случае я вам капель дам.

– Ну, капли другое дело. Капли насильно влить можно.

Провизор повернул голову в сторону и прокричал что-то по-немецки.

– Ja!⁶ – откликнулся маленький черненький фармацевт.

Лохматов направился туда, где возился этот фармацевт, облокотился о стойку и стал ждать.

«Как он, собака, все это ловко! – думал он, следя за движениями пальцев фармацевта, делившего какой-то порошок на доли. – И на все ведь это нужна наука!»

⁶ Да! (нем.)

Покончив с порошками, фармацевт взял флакон, наболтал в него коричневой жидкости, завернул в бумагу и подошел к Лохматову.

– Вам на десять копеек капель? – спросил он.

– Индейскому петуху.

– Что? – вытаращил глаза фармацевт.

– Индейскому петуху.

– С вами говорят по-человечески, – вспыхнул фармацевт, – вы и должны отвечать по-человечески.

– Как же вам еще отвечать? Говорю, что индейскому петуху, так, значит, и индейскому петуху. Не орлу же!

– Я это могу на свой счет принять! – нахохлился аптекарь.

– Зачем же на свой счет принять? Я сам заплачу.

– Но мне некогда с вами шутить!

Фармацевт отложил в сторону флакон с каплями, отошел в сторону и, сердито фыркая, стал что-то тереть в ступке.

Маркел Иванович подождал еще немного, потом пожал плечами, вздохнул и вышел из аптеки. Придя домой, он снял сюртук, панталоны и жилет, почесался, побряхтел и лег на диван.

– Ну, что? был в аптеке? – набросилась на него Пелагея Петровна.

– Был... ну их к черту!

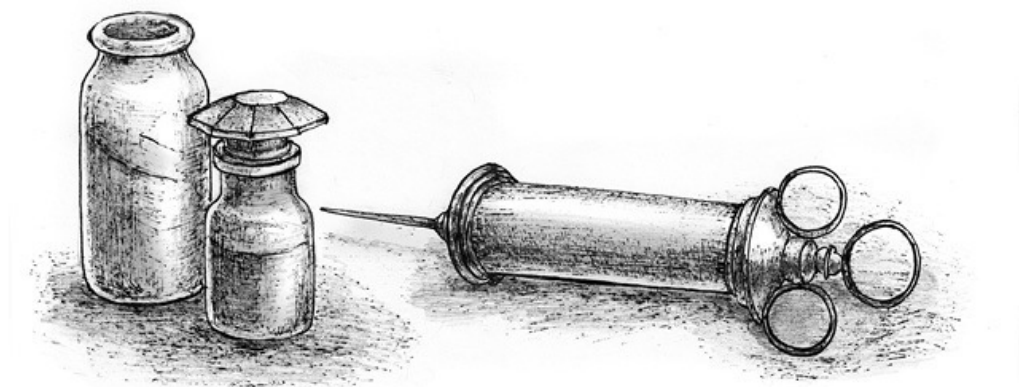
– Где же лекарство?

– Не дают! – махнул рукой Маркел Иванович и укрылся ватным одеялом.

– У-у... так и дам по уху!

Николай Лесков Несмертельный Голован. Из рассказов о трех праведниках

Совершенная любовь изгоняет страх.
Иоанн



1

Он сам почти миф, а история его – легенда. Чтобы повествовать о нем – надо быть французом, потому что одним людям этой нации удастся объяснить другим то, чего они сами не понимают. Я говорю все это с тою целью, чтобы вперед испросить себе у моего читателя снисхождения ко всестороннему несовершенству моего рассказа о лице, воспроизведение которого стоило бы трудов гораздо лучшего мастера, чем я. Но Голован может быть скоро совсем позабыт, а это была бы утрата. Голован стоит внимания, и, хотя я его знаю не настолько, чтобы мог начертать полное его изображение, однако я подберу и представлю некоторые черты этого невысокого ранга смертного человека, который сумел прослыть «несмертельным».

Прозвище «несмертельного», данное Головану, не выражало собою насмешки и отнюдь не было пустым, бессмысленным звуком – его прозвали несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован – человек особенный; человек, который не боится смерти. Как могло сложиться о нем такое мнение среди людей, ходящих под богом и всегда помнящих о своей смертности? Была ли на это достаточная причина, развившаяся в последовательной условности, или же такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости?

Мне казалось, что последнее было вероятнее, но как судили о том другие – этого я не знаю, потому что в детстве моем об этом не думал, а когда я подрос и мог понимать вещи – «несмертельного» Голована уже не было на свете. Он умер, и притом не самым опрятным образом: он погиб во время так называемого в г. Орле «большого пожара», утонув в кипящей ямине, куда упал, спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако «часть его большая, от тлена

убежав, продолжала жить в благодарной памяти»⁷, и я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о нем знал и слышал, дабы таким образом еще продлилась на свете его достойная внимания память.

2

Несмертельный Голован был простой человек. Лицо его, с чрезвычайно крупными чертами, врезалось в моей памяти с ранних дней и осталось в ней навсегда. Я его встретил в таком возрасте, когда, говорят, будто бы дети еще не могут получать прочных впечатлений и износить из них воспоминаний на всю жизнь, но, однако, со мною случилось иначе. Случай этот отмечен моею бабушкою следующим образом:

«Вчера (26 мая 1835 г.) приехала из Горохова к Машеньке (моей матери), Семена Дмитрича (отца моего) не застала дома, по командировке его в Елец на следствие о страшном убийстве. Во всем доме были одни мы, женщины и девичья прислуга. Кучер уехал с ним (отцом моим), только дворник Кондрат оставался, а на ночь сторож в переднюю ночевать приходил из правления (губернское правление, где отец был советником). Сегодняшнего же числа Машенька в двенадцатом часу пошла в сад посмотреть цветы и кануфер полить, и взяла с собою Никулушку (меня) на руках у Анны (пониже живой старушки). А когда они шли назад к завтраку, то едва Анна начала отпирать калитку, как на них сорвалась цепная Рябка, прямо с цепью, и прямо кинулась на грудцы Анне, но в ту самую минуту, как Рябка, опершись лапами, бросился на грудь Анне, Голован схватил его за шиворот, стиснул и бросил в погребное творило. Там его и пристрелили из ружья, а дитя спаслось».

Дитя это был я, и как бы точны ни были доказательства, что полуторагодовалый ребенок не может помнить, что с ним происходило, я, однако, помню это происшествие.

Я, конечно, не помню, откуда взялась взбешенная Рябка и куда ее дел Голован, после того как она захрипела, барахтаясь лапами и извиваясь всем телом в его высоко поднятой железной руке; но я помню момент... только момент. Это было как при блеске молоньи среди темной ночи, когда почему-то вдруг видишь чрезвычайно множество предметов зараз: занавес кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочке канарейку и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которой пятнышками осела магнезия. Таково, вероятно, свойство страха, имеющего большие очи. В одном таком моменте я как сейчас вижу перед собою огромную собачью морду в мелких пестринах – сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом, точно напoмаженном зеве... оскал, который хотел уже зацелкнуться, но вдруг верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившаяся горловина. Надо всем этим стояла огромная человеческая фигура с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного пса. Во все это время лицо человека улыбалось.

⁷ Неточная цитата из стихотворения Державина «Памятник».



Описанная фигура был Голован. Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу.

В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков; сложение имел широкое, сухое и мускулистое; он был смугл, круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом и тол-

стыми губами. Волосы на голове и подстриженной бороде Голована были очень густые, цвета соли с перцем. Голова была всегда коротко острижена, борода и усы тоже стриженные. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни на минуту: она светилась в каждой черте, но преимущественно играла на устах и в глазах, умных и добрых, но как будто немножко насмешливых. Другого выражения у Голована как будто не было, по крайней мере, я иного не помню. К дополнению этого неискusного портрета Голована надо упомянуть об одной странности или особенности, которая заключалась в его походке. Голован ходил очень скоро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с подскоком. Он не хромал, а, по местному выражению, «шкандыбал», то есть на одну, на правую, ногу наступал твердою поступью, а с левой подпрыгивал. Казалось, что эта нога у него не гнулась, а пружинила где-то в мускуле или в суставе. Так ходят люди на искусственной ноге, но у Голована она была не искусственная; хотя, впрочем, эта особенность тоже и не зависела от природы, а ее устроил себе он сам, и в этом была тайна, которую нельзя объяснить сразу.

Одевался Голован мужиком – всегда, летом и зимою, в пеклые жары и в сорокаградусные морозы, он носил длинный, нагольный овчинный тулуп, весь промасленный и почерневший. Я никогда не видал его в другой одежде, и отец мой, помню, частенько шутил над этим тулупом, называя его «вековечным».

По тулупу Голован подпоясывался «чекменным» ремешком с белым сбруйным набором, который во многих местах пожелтел, а в других – совсем осыпался и оставил наружу дратву да дырки. Но тулуп содержался в опрятности от всяких мелких жильцов – это я знал лучше других, потому что я часто сиживал у Голована за пазухой, слушая его речи, и всегда чувствовал себя здесь очень покойно.

Широкий ворот тулупа никогда не застегивался, а, напротив, был широко открыт до самого пояса. Здесь было «недро», представлявшее очень просторное помещение для бутылок со сливками, которые Голован поставлял на кухню Орловского дворянского собрания. Это был его промысел с тех самых пор, как он «вышел на волю» и получил на разживу «ермоловскую корову».

Могучую грудь «несмертельного» покрывала одна холщовая рубашка малороссийского покроя, то есть с прямым воротом, всегда чистая как кипень и непременно с длинною цветною завязкою. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусок шерстяной материи или даже ситца, но она сообщала наружности Голована нечто свежее и джентльменское, что ему очень шло, потому что он в самом деле был джентльмен.

3



Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красиво. Тогда, до пожаров, это был край настоящего города. Вправо за Орлик шли мелкие хибары слободы, которая примыкала к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Великого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву, а сзади, за садами, – глубокий овраг и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой – самые ранние картины, которые я видел и наблюдал чаще всего прочего. На этом же выгоне, или, лучше сказать, на узкой полосе, отделявшей наши сады заборами от оврага, паслись шесть или семь коров Голована и ему же принадлежавший красный бык «ермоловской» породы. Быка Голован содержал для своего маленького, но прекрасного стада, а также разводил его в поводу «на подержанье» по домам, где имели в том хозяйственную надобность. Ему это приносило доход.

Средства Голована к жизни заключались в его удоистых коровах и их здоровом супруге. Голован, как я выше сказал, поставлял на дворянский клуб сливки и молоко, которые славилась своими высокими достоинствами, зависевшими, конечно, от хорошей породы его скота и от доброго за ним ухода. Масло, поставляемое Голованом, было свежо, желто, как желток, и ароматно, а сливки «не текли», то есть если оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не лились струей, а падали как густая, тяжелая масса. Продуктов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не имел себе соперников, а дворяне тогда не только умели есть хорошо, но и имели чем расплачиваться. Кроме того, Голован поставлял также в клуб отменно крупные яйца от особенно крупных голландских кур, которых водил во множестве, и, наконец, «приготавливал телят», отпаивая их мастерски и всегда ко времени, например, к наибольшему съезду дворян или к другим особенным случаям в дворянском круге.

В этих видах, обуславливающих средства Голована к жизни, ему было очень удобно держаться дворянских улиц, где он продовольствовал интересных особ, которых орловцы некогда узнавали в Паншине, в Лаврецком и в других героях и героинях «Дворянского гнезда».

Голован жил, впрочем, не в самой улице, а «на отлете». Постройка, которая называлась «Головановым домом», стояла не в порядке домов, а на небольшой террасе обрыва под левым рядом улицы. Площадь этой террасы была сажен в шесть в длину и столько же в ширину. Это была глыба земли, которая когда-то поехала вниз, но на дороге остановилась, окрепла и, не представляя ни для кого твердой опоры, едва ли составляла чью-нибудь собственность. Тогда это было еще возможно.

Голованову постройку в собственном смысле нельзя было назвать ни двором, ни домом. Это был большой, низкий сарай, занимавший все пространство отпавшей глыбы. Может быть, бесформенное здание это было здесь возведено гораздо ранее, чем глыбе вздумалось спуститься, и тогда оно составляло часть ближайшего двора, владелец которого за ним не погнался и уступил его Головану за такую дешевую цену, какую богатырь мог ему предложить. Помнится мне даже, как будто говорили, что сарай этот был подарен Головану за какую-то услугу, оказывать которые он был большой охотник и мастер.

Сарай был переделен надвое: одна половина, обмазанная глиной и выбеленная, с тремя окнами на Орлик, была жилым помещением Голована и находившихся при нем пяти женщин, а в другой были наделаны стойла для коров и быка. На низком чердаке жили голландские куры и черный «шпанский» петух, который жил очень долго и считался «колдовской птицей». В нем Голован растил петуший камень, который пригоден на множество случаев: на то, чтобы счастье приносить, отнятое государство из неприятельских рук возвращать и старых людей на молодых переделывать. Этот камень зреет семь лет и созревает только тогда, когда петух петать перестанет.

Сарай был так велик, что оба отделения – жилое и скотское – были очень просторны, но, несмотря на всю о них заботливость, плохо держали тепло. Впрочем, тепло нужно было

только для женщин, а сам Голован был нечувствителен к атмосферным переменам и лето и зиму спал на ивняковой плетенке в стойле, возле любимца своего – красного тирольского быка «Васьки». Холод его не брал, и это составляло одну из особенностей этого мифического лица, через которые он получил свою баснословную репутацию.

Из пяти женщин, живших с Голованом, три были его сестры, одна мать, а пятая называлась Павла, или, иногда, Павлагеюшка. Но чаще ее называли «Голованов грех». Так я привык слышать с детства, когда еще даже и не понимал значения этого намека. Для меня эта Павла была просто очень ласковою женщиною, и я как сейчас помню ее высокий рост, бледное лицо с ярко-алыми пятнами на щеках и удивительной черноты и правильности бровями.

Такие черные брови правильными полукругами можно видеть только на картинах, изображающих персиянку, покоящуюся на коленях престарелого турка. Наши девушки, впрочем, знали и очень рано сообщили мне секрет этих бровей: дело заключалось в том, что Голован был зелейник и, любя Павлу, чтобы ее никто не узнал, – он ей, сонной, помазал брови медвежьим салом. После этого в бровях Павлы, разумеется, не было уже ничего удивительного, а она к Головану привязалась не своею силою.

Наши девушки все это знали.

Сама Павла была чрезвычайно кроткая женщина и «все молчала». Она была столь молчалива, что я никогда не слышал от нее более одного, и то самого необходимого слова: «здравствуй», «садись», «прощай». Но в каждом этом коротком слове слышалась бездна приветов, доброжелательства и ласки. То же самое выражали звук ее тихого голоса, взгляд серых глаз и каждое движение. Помню тоже, что у нее были удивительно красивые руки, что составляет большую редкость в рабочем классе, а она была такая работница, что отличалась деятельностью даже в трудолюбивой семье Голована.

У них у всех было очень много дела: сам «несмертельный» кипел в работе с утра до поздней ночи. Он был и пастух, и поставщик, и сыровар. С зарею он выгонял свое стадо за наши заборы на росу и все переводил своих статных коров с обрывца на обрывец, выбирая для них, где потучнее травка. В то время, когда у нас в доме вставали, Голован являлся уже с пустыми бутылками, которые забирал в клубе вместо новых, которые снес туда сегодня; собственноручно врубал в лед нашего ледника кувшины нового удою и говорил о чемнибудь с моим отцом, а когда я, отучившись грамоте, шел гулять в сад, он уже опять сидел под нашим заборчиком и руководил своими коровками. Здесь была в заборе маленькая калиточка, через которую я мог выходить к Головану и разговаривать с ним. Он так хорошо умел рассказывать сто четыре священные истории, что я их знал от него, никогда не уча их по книге. Сюда же приходили к нему, бывало, какие-то простые люди – всегда за советами. Иной, бывало, как придет, так и начинает:

– Искал тебя, Голованыч, посоветуй со мной.

– Что такое?

– А вот то-то и то-то; в хозяйстве что-нибудь расстроилось или семейные нелады.

Чаще приходили с вопросами этой второй категории. Голованыч слушает, а сам ивнячок плетет или на коровок покрикивает и все улыбается, будто без внимания, а потом вскинет своими голубыми глазами на собеседника и ответит:

– Я, брат, плохой советник! Бога на совет призови.

– А как его призовешь?

– Ох, брат, очень просто: помолись да сделай так, как будто тебе сейчас помирать надо.

Вот скажи-ка мне: как бы ты в таком разе сделал?

Тот подумает и ответит.

Голован или согласится, или же скажет:

– А я бы, брат, умираючи вот как лучше сделал.

И рассказывает, по обыкновению, все весело, со всегдашней улыбкой.

Должно быть, его советы были очень хороши, потому что всегда их слушали и очень его за них благодарили.

Мог ли у такого человека быть «грех» в лице кротчайшей Павлагеюшки, которой в то время, я думаю, было с небольшим лет тридцать, за пределы которых она и не перешла далее? Я не понимал этого «греха» и остался чист от того, чтобы оскорбить ее и Голована довольно общими подозрениями. А повод для подозрения был, и повод очень сильный, даже, если судить по видимости, неопровержимый. Кто она была Головану? Чужая. Этого мало: он ее когда-то знал, он был одних с нею господ, он хотел на ней жениться, но это не состоялось: Голована дали в услуги герою Кавказа Алексею Петровичу Ермолову, а в это время Павлу выдали замуж за наездника Ферапонта, по местному выговору «Хранена». Голован был нужный и полезный слуга, потому что он умел все, – он был не только хороший повар и кондитер, но и сметливый и бойкий походный слуга. Алексей Петрович платил за Голована, что следовало, его помещику, и, кроме того, говорят, будто дал самому Головану взаймы денег на выкуп. Не знаю, верно ли это, но Голован действительно вскоре по возвращении от Ермолова выкупился и всегда называл Алексея Петровича своим «благодетелем». Алексей же Петрович по выходе Голована на волю подарил ему на хозяйство хорошую корову с телянком, от которых у того и пошел «ермоловский завод».

4

Когда именно Голован поселился в сарае на обвале, – этого я совсем не знаю, но это совпадало с первыми днями его «вольного человечества», – когда ему предстояла большая забота о родных, оставшихся в рабстве. Голован был выкуплен самолично один, а мать, три его сестры и тетка, бывшая впоследствии моею нянькою, оставались «в крепости». В таком же положении была и нежно любимая ими Павла, или Павлагеюшка. Голован ставил первую заботою всех их выкупить, а для этого нужны были деньги. По мастерству своему он мог бы идти в повара или в кондитеры, но он предпочел другое, именно молочное хозяйство, которое и начал при помощи «ермоловской коровы». Было мнение, что он избрал это потому, что сам был молокан⁸. Может быть, это значило просто, что он все возился с молоком, но может быть, что название это метило прямо на его веру, в которой он казался странным, как и во многих иных поступках. Очень возможно, что он на Кавказе и знал молоканов и что-нибудь от них позаимствовал. Но это относится к его странностям, до которых дойдет ниже.

Молочное хозяйство пошло прекрасно: года через три у Голована было уже две коровы и бык, потом три, четыре, и он нажил столько денег, что выкупил мать, потом каждый год выкупал по сестре, и всех их забирал и сводил в свою просторную, но прохладную лачугу. Так лет в шесть-семь он высвободил всю семью, но красавица Павла у него улетела. К тому времени, когда он мог и ее выкупить, она была уже далеко. Ее муж, наездник Храпон, был плохой человек – он не угодил чем-то барину и, в пример прочим, был отдан в рекруты без зачета.

В службе Храпон попал в «скачки», то есть верховые пожарной команды в Москву, и вытребовал туда жену; но вскоре и там сделал что-то нехорошее и бежал, а покинутая им жена, имея нрав тихий и робкий, убоялась коловратностей столичной жизни и возвратилась в Орел. Здесь она тоже не нашла на старом месте никакой опоры и, гонимая нуждою, пришла к Головану. Тот, разумеется, ее тотчас же принял и поместил у себя в одной и той же просторной горнице, где жили его сестры и мать. Как мать и сестры Голована смотрели на водворение Павлы, – я доподлинно не знаю, но водворение ее в их доме не посеяло никакой распри. Все женщины

⁸ Молокане – религиозная секта в России, придерживавшаяся аскетических правил жизни и не признававшая обрядов официальной церкви.

жили между собою очень дружно и даже очень любили бедную Павлагеюшку, а Голован всем им оказывал равную внимательность, а особенное почтение оказывал только матери, которая была уже так стара, что он летом выносил ее на руках и сажал на солнышко, как больного ребенка. Я помню, как она «заходила» ужасным кашлем и все молилась «о прибрании».

Все сестры Голована были пожилые девушки и все помогали брату в хозяйстве: они убивали и доили коров, ходили за курами и пряли необыкновенную пряжу, из которой потом ткали необыкновенные же и никогда мною после этого не виданные ткани. Пряжа эта называлась очень некрасивым словом «поплевки». Материал для нее приносил откуда-то в кулях Голован, и я видел и помню этот материал: он состоял из небольших суковатых обрывочков разноцветных бумажных нитей. Каждый обрывочек был длиною от вершка до четверти аршина, и на каждом таком обрывочке непременно был более или менее толстый узелок или сучок. Откуда Голован брал эти обрывки – я не знаю, но очевидно, что это был фабричный отброс. Так мне и говорили его сестры.

– Это, – говорили, – миленький, где бумагу прядут и ткут, так – как до такого узелка дойдут, сорвут его да на пол и сплюнут – потому что он в берда не идет, а братец их собирает, а мы из них вот тепленькие одеяльца делаем.

Я видал, как они все эти обрывки нитей терпеливо разбирали, связывали их кусочек с кусочком, наматывали образующуюся таким образом пеструю, разноцветную нить на длинные шпули; потом их трастили, ссучивали еще толще, растягивали на колышках по стене, сортировали что-нибудь одноцветное для каем и, наконец, ткали из этих «поплеков» через особое бердо «поплевковые одеяла». Одеяла эти с виду были похожи на нынешние байковые: так же у каждого из них было по две каймы, но само полотно всегда было мрамористое. Узелки в них как-то сглаживались от ссучивания, и хотя были, разумеется, очень заметны, но не мешали этим одеялам быть легкими, теплыми и даже иногда довольно красивыми. Притом же они продавались очень дешево – меньше рубля за штуку.

Эта кустарная промышленность в семье Голована шла без остановки, и он, вероятно, находил сбыт поплевковым одеялам без затруднения.

Павлагеюшка тоже вязала и сучила «поплевки» и ткала одеяла, но, кроме того, она, по усердию к приютившей ее семье, несла еще все самые тяжелые работы в доме: ходила под кручу на Орлик за водою, носила топливо, и прочее, и прочее.

Дрова уже и тогда в Орле были очень дороги, и бедные люди отапливались то гречневою лузгою, то навозом, а последнее требовало большой заготовки.

Все это и делала Павла своими тонкими руками, в вечном молчании, глядя на свет божий из-под своих персидских бровей. Знала ли она, что ее имя «грех», – я не сведущ, но таково было ее имя в народе, который твердо стоит за выдуманные им клички. Да и как иначе: где женщина, любящая, живет в доме у мужчины, который ее любил и искал на ней жениться, – там, конечно, грех. И действительно, в то время, когда я ребенком видал Павлу, она единогласно почиталась «Головановым грехом», но сам Голован не утрачивал через это ни малейшей доли общего уважения и сохранял прозвище «несмертельного».

5

«Несмертельным» стали звать Голована в первый год, когда он поселился в одиночестве над Орликом с своею «ермоловскою коровою» и ее теленком. Поводом к тому послужило следующее вполне достоверное обстоятельство, о котором никто не вспомнил во время недавней «прокофьевской» чумы. Было в Орле обычное лихолетье, а в феврале на день св. Агафьи Коровницы по деревням, как надо, побежала «коровья смерть». Шло это, яко тому обычай

есть и как пишется в универсальной книге, иже глаголется «Прохладный вертоград»⁹: «Как лето сканчевается, а осень приближается, тогда вскоре моровое поветрие начинается. А в то время надобе всякому человеку на всемогущего бога упование возлагати и на пречистую его мать и силою честного креста ограждатися и сердце свое воздержати от кручины, и от ужаси, и от тяжелой думы, ибо через сие сердце человеческое умаляется и скоро порса и язва прилепляется – мозг и сердце захватит, осилеет человека и борзо умрет». Было все это тоже при обычных картинах нашей природы, «когда стают в осень туманы густые и темные и ветер с полуденной страны и последи дожди и от солнца воскурение земли, и тогда надобе на ветр не ходити, а сидети во избе в топленой и окон не отворяти, а добро бы, чтобы в том граде ни жити и из того граду отходить в места чистые». Когда, то есть в каком именно году последовал мор, прославивший Голована «несмертельным», – этого я не знаю. Такими мелочами тогда сильно не занимались и из-за них не поднимали шума, как вышло из-за Наума Прокофьева. Местное горе в своем месте и кончалось, умиряемое одним упованием на бога и его пречистую мать, и разве только в случае сильного преобладания в какой-нибудь местности досужего «интеллигента» принимались своеобразные оздоровляющие меры: «во дворах огонь расклали ясный, дубовым древом, дабы дым расходился, а в избах курили пелынею и можжевеловыми дровами и листием рутовым». Но все это мог делать только интеллигент, и притом при хорошем зажитке, а смерть борзо брала не интеллигента, но того, кому ни в избе топленой сидеть некогда, да и древом дубовым раскрытый двор топить не по силам. Смерть шла об руку с голодом и друг друга поддерживали. Голодающие побирались у голодающих, больные умирали «борзо», то есть скоро, что крестьянину и выгоднее. Долгих томлений не было, не было слышно и выздоравливающих. Кто заболел, тот «борзо» и помер, кроме одного. Какая это была болезнь – научно не определено, но народно ее звали «пазуха», или «веред»¹⁰, или «жмыховой пупырух», или даже просто «пупырух». Началось это с хлебородных уездов, где, за неимением хлеба, ели конопляный жмых. В Карачевском и Брянском уездах, где крестьяне мешали горсть непросеивной муки с толченой корою, была болезнь иная, тоже смертоносная, но не «пупырух». «Пупырух» показался сначала на скоте, а потом передавался людям. «У человека под пазухами или на шее садится болячка червена, и в теле колотье почюет, и внутри негасимое горячество или во удесех¹¹ некая студеность и тяжкое воздыхание и не может воздыхати – дух в себя тянет и паки воспускает; сон найдет, что не может перестать спать; явится горесть, кислоть и блевание; в лице человек сменится, станет образом глиностен и борзо помирает». Может быть, это была сибирская язва, может быть, какая-нибудь другая язва, но только она была губительна и беспощадна, а самое распространенное название ей, опять повторяю, было «пупырух». Вскочит на теле прыщ, или, по-простонародному, «пупырушек», зажелтоголовится, вокруг зардеет, и к суткам начинает мясо отгнивать, а потом борзо и смерть. Скорая смерть представлялась, впрочем, «в добрых видах». Кончина приходила тихая, не мучительная, самая крестьянская, только всем помиравшим до последней минутки хотелось пить. В этом и был весь недолгий и неустойчивый уход, которого требовали, или, лучше сказать, вымаливали себе больные. Однако уход за ними даже в этой форме был не только опасен, но почти невозможен, – человек, который сегодня подавал пить заболевшему родичу, – завтра сам заболел «пупырухом», и в доме нередко ложилось два и три покойника рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без помощи – без той единственной помощи, о которой заботится наш крестьянин, «чтобы было кому подать напиться». Вначале такой сирота поставит себе у изголовья ведро с водою

⁹ «Прохладный вертоград» – лечебный справочник, переведенный с греческого Симеоном Полоцким для царевны Софьи в XVII веке.

¹⁰ Веред – чирей, нарыв.

¹¹ Во удесех – в членах.

и черпает ковшиком, пока рука поднимается, а потом ссучит из рукава или из подола рубашки соску, смочит ее, сунет себе в рот, да так с ней и заостенееет.

Большое личное бедствие – плохой учитель милосердия. По крайней мере, оно нехорошо действует на людей обыкновенной, заурядной нравственности, не возвышающейся за черту простого сострадания. Оно притупляет чувствительность сердца, которое само тяжело страдает и полно ощущения собственных мучений. Зато в такие горестные минуты общего бедствия среда народная выдвигает из себя героев великодушия, людей бесстрашных и самоотверженных. В обыкновенное время они не видны и часто ничем не выделяются из массы: но наскочит на людей «пупырушек», и народ выделяет из себя избранника, и тот творит чудеса, которые делают его лицом мифическим, баснословным, «несмертельным». Голован был из таких и в первый же мор превзошел и затмил в народном представлении другого здешнего замечательного человека, купца Ивана Ивановича Андросова. Андросов был честный старик, которого уважали и любили за доброту и справедливость, ибо он «близко-помещен» был ко всем народным бедствиям. Помогал он и в «мору», потому что имел списанным «врачевание» и «все оное переписывал и множил». Списания эти у него брали и читали по разным местам, но понять не могли и «приступить не знали». Писано было: «Аще болячка явится поверх главы или ином месте выше пояса, – пушай много кровь из медианы; аще явится на челе, то пушай скоро кровь из-под языка; аще явится подле ушей и под бороною, пушай из сефалиевы жилы, аще же явится под пазухами, то, значит, сердце больно, и тогда в той стороне медиан отворяй». На всякое место, «где тягостно услышишь», расписано было, какую жилу отворять: «сафенову»¹², или «против большого перста, или жилу спатику»¹³, полуматику, или жилу базику»¹⁴ с наказом «пушать из них кровь течи, дондеже зелена станет и переменится». А лечить еще «левкарем да антелем»¹⁵, печатною землею да землею армейскою; вином малмозеею, да водкой буглосовою»¹⁶, вирианом виницейским, митридатом»¹⁷ да сахаром монюс-крости», а входящим к больному «держат в рте Дягилева корение, а в руках – пельнь, а ноздри сворбориновым уксусом помазаны и губу в уксусе мочену жохать». Никто ничего в этом понять не мог, точно в казенном указе, в котором писано и переписано, то туда, то сюда и «в дву потомуж». Ни жил таких не находили, ни вина малмозеи, ни земли армянской, ни водки буглосовой, и читали люди списания доброго старичка Андросова более только для «утоли моя печали». Применять же из них могли одни заключительные слова: «а где бывает мор, и в те места не надобе ходить, а отходить прочь». Это и соблюдали во множестве, и сам Иван Иванович держал то же правило и сидел в избе топленной и раздавал врачебные списания в подворотенку, задерживая в себе дух и держа во рту дягиль-корень. К больным можно было безопасно входить только тем, у кого есть оленье слезы или безоар-камень»¹⁸; но ни слез оленьих, ни камня безоара у Ивана Ивановича не было, а в аптеках на Болховской улице камень хотя, может быть, и водился, но аптекаря были – один из поляков, а другой немец, к русским людям надлежащей жалости не имели и безоар-камень для себя берегли. Это было вполне достоверно потому, что один из двух орловских аптекарей как потерял свой безоар, так сейчас же на дороге у него стали уши желтеть, око одно ему против другого убавилось, и он стал дрожать и хоша желал вспотеть и для того велел себе дома к подошвам каленый кирпич приложить, однако не вспотел, а в сухой рубахе

¹² Сафонова жила – жила между большим и указательным пальцами.

¹³ Спатику – жила на правой стороне тела.

¹⁴ Базику – жила на левой стороне тела.

¹⁵ Антель – проскурняк (лечебная трава).

¹⁶ Водка буглосовая – настоянная на траве буглос (воловий язык).

¹⁷ Митридат – по имени врача Митридата Эвпатора (132–63 до н. э.) – универсальное лечебное средство из пятидесяти четырех элементов.

¹⁸ Оленьи слезы или безоар-камень – камень из желудка козы, ламы, используемый как народное лекарство.

умер. Множество людей искали потерянный аптекарем безоар, и кто-то его нашел, только не Иван Иванович, потому что он тоже умер.

И вот в это-то ужасное время, когда интеллигенты отирались уксусом и не выпускали духу, по бедным слободским хибаркам еще ожесточеннее пошел «пупырух»; люди начали здесь умирать «соплошь и без всякой помощи», – и вдруг там, на ниве смерти, появился с изумительным бесстрашием Голован. Он, вероятно, знал или думал, будто знает, какую-то медицину, потому что клал на опухоли больных своего приготовления «кавказский пластырь»; но этот его кавказский, или ермоловский, пластырь помогал плохо. «Пупырухов» Голован не вылечивал, так же как и Андросов, но зато велика была его услуга больным и здоровым в том отношении, что он безбоязненно входил в зачумленные лачуги и поил зараженных не только свежей водою, но и снятым молоком, которое у него оставалось из-под клубных сливок. Утром рано до зари переправлялся он на снятых с петель сарайных воротниках через Орлик (лодки здесь не было) и с бутылками за необъятным недром шнырял из лачужки в лачужку, чтобы промочить из скляницы засохшие уста умирающих или поставить мелом крест на двери, если драма жизни здесь уже кончилась и занавесь смерти закрылась над последним из актеров.



С этих пор доселе малоизвестного Голована широко узнали во всех слободах, и началось к нему большое народное тяготение. Имя его, прежде знакомое прислуге дворянских домов, стали произносить с уважением в народе; начали видеть в нем человека, который не только

может «заступить умершего Ивана Ивановича Андросова, а даже более его означать у бога и у людей». А самому бесстрашию Голована не уемдили подыскать сверхъестественное объяснение: Голован, очевидно, что-то знал, и в силу такого знахарства он был «несмертельный»...

Позже оказалось, что это так именно и было: это помог всем разъяснить пастух Панька, который видел за Голованом вещь невероятную, да подтверждалось это и другими обстоятельствами.

Язва Голована не касалась. Во все время, пока она свирепствовала в слободах, ни сам он, ни его «ермоловская» корова с бычком ничем не заболели; но этого мало: самое важное было то, что он обманул и извел, или, держась местного говора, «изништожил» саму язву, и сделал то, не пожалев теплой крови своей за народушко.

Потерянный аптекарем безоар-камень был у Голована. Как он ему достался – это было неизвестно. Полагали, что Голован нес сливки аптекарю для «обыденной мази» и увидал этот камень и утаил его. Честно это или не честно было произвести такую утайку, про то строгой критики не было, да и быть не должно. Если не грех взять и утаить съедомое, потому что съедомое бог всем дарствует, то тем паче не предосудительно взять целебное вещество, если оно дано к общему спасению. Так у нас судят – так и я рассказываю. Голован же, утаив аптекарев камень, поступил с ним великодушно, пустив его на общую пользу всего рода христианского.

Все это, как я выше уже сказал, обнаружил Панька, а общий разум мирской это выяснил.

6

Панька, разноглазый мужик с выпавшими волосами, был подпаском у пастуха, и, кроме общей пастушьей должности, он еще гонял по утрам на росу перекрещиванских коров. В одно из таких ранних своих занятий он и подсмотрел все дело, которое вознесло Голована на верш величия народного.

Это было по весне, должно быть, вскоре после того, как выехал на русские поля изумрудные молодой Егорий светлохрабрый, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, по концам звезды перехожие, а божий люд честной-праведный выгнал встреч ему мал и крупен скот. Травка была еще так мала, что овца и коза ею едва-едва наедались, а толстогубая корова мало могла захватывать. Но под плетнями в тених и по канавкам уже ботвели полынь и крапива, которые с росой за нужду елих.

Выгнал Панька перекрещиванских коров рано, еще затемно, и прямо бережком около Орлика прогнал за слободу на полянку, как раз напротив конца Третьей Дворянской улицы, где с одной стороны по скату шел старый, так называвшийся «Городецкий» сад, а слева на своем обрывке лепилось Голованово гнездо.

Было еще холодно, особенно перед зарею, по утрам, а кому спать хочется, тому еще холоднее кажется. Одежда на Паньке была, разумеется, плохая, сиротская, какая-нибудь рвань с дырой на дыре. Парень вертится на одну сторону, вертится на другую, молит, чтобы святой Федул на него теплом подул, а наместо того все холодно. Только заведет глаза, а ветерок заюлит, заюлит в прореху и опять разбудит. Однако молодая сила взяла свое: натянул Панька свитку на себя совсем сверх головы, шалашиком, и задремал. Час какой не расслышал, потому что зеленая богоявленская колокольня далеко. А вокруг никого, нигде ни одной души человеческой, только толстые купеческие коровы пыхтят да нет-нет в Орлике резвый окунь всплеснет. Дремлет пастуху и в дырявой свитке. Но вдруг как будто что-то его под бок толкнуло, вероятно, зефир где-нибудь еще новую дыру нашел. Панька вскинулся, повел спросонья глазами, хотел крикнуть: «Куда, комолая», – и остановился. Показалось ему, что кто-то на той стороне спускается с кручи. Может быть, вор хочет закопать в глине что-нибудь краденое. Панька заинтересовался; может быть, он подстережет вора и накроет его либо закричит ему «чур вместе»,

а еще лучше, постарается хорошенько заметить похоронку да потом переплывет днем Орлик, выкопает и все себе без раздела возьмет.

Панька воззрился и все на кручу за Орлик смотрит. А на дворе еще чуть серело.

Вот кто-то спускается с кручи, сошел, стал на воду и идет. Да так просто идет по воде, будто посуху, и не плескает ничем, а только костыльком подпирается. Панька оторопел. Тогда в Орле из мужского монастыря чудотворца ждали, и голоса уже из подполицы слышали. Началось это сразу после «Никодимовых похорон»¹⁹. Архиерей Никодим был злой человек, отличившийся к концу своей земной карьеры тем, что, желая иметь еще одну кавалерию²⁰, он из угодливости сдал в солдаты очень много духовных, между которыми были и единственные сыновья у отцов и даже сами семейные дьячки и пономари. Они выходили из города целой партией, заливаясь слезами. Провожавшие их также рыдали, и самый народ, при всей своей нелюбви к многоовчинному поповскому брюху, плакал и подавал им милостыню. Самому партионному офицеру было их так жалко, что он, желая положить конец слезам, велел новым рекрутам запеть песню, а когда они хором стройно и громко затянули ими же сложенную песню:

Архиерей наш Никодим
Архилютый крокодил,

то будто бы и сам офицер заплакал. Все это тонуло в море слез и чувствительным душам представлялось злом, вопиющим на небо. И действительно – как достигло их вопление до неба, так в Орле пошли «гласы». Сначала «гласы» были невнятные и неизвестно от кого шли, но когда Никодим вскоре после этого умер и был погребен под церковью, то пошла явная речь от прежде его погребенного там епископа (кажется, Аполлоса). Прежде отшедший епископ был недоволен новым соседством и, ничем не стесняясь, прямо говорил: «Возьмите вон отсюда это падло, душно мне с ним». И даже угрожал, что если «падло» не уберут, то он сам «уйдет и в другом городе явится». Это многие люди слышали. Как, бывало, пойдут в монастырь ко всенощной и, отстояв службу, идут назад, им и слышно: стонет старый архиерей: «Возьмите падло». Всем очень желалось, чтобы заявление доброго покойника было исполнено, но не всегда внимательное к нуждам народа начальство не выбрасывало Никодима, и явно открывавшийся угодник всякую минуту мог «сойти с двора».

Вот не что иное, как это самое, теперь и происходило: угодник уходит, и видит его только один бедный пастушок, который так от этого растерялся, что не только не задержал его, но даже не заметил, как святой уже и из глаз у него пропал. На дворе же только чуть начало светать. Со светом к человеку прибывает смелости, с смелостью усиливается любознательность. Панька захотел подойти к самой воде, через которую только что проследовало таинственное существо; но едва он подошел, как видит, тут мокрые воротнища к бережку шестом приткнуты. Дело выяснилось: значит, это не угодник проследовал, а просто проплыл бессмертный Голован: верно, он пошел каких-нибудь обезродевших ребятишек из недра молочком приветить. Панька подивился: когда этот Голован и спит!.. Да и как он, этакой мужичище, плавает на этой посудине – на половинке ворот? Правда, что Орлик река не великая и воды его, захваченные пониже запрудой, тихи, как в луже, но все-таки каково это на воротах плавать?

Паньке захотелось самому это попробовать. Он стал на воротца, взял шестик да, шая, и переехал на ту сторону, а там сошел на берег Голованов дом посмотреть, потому что уже хорошо забрезжило, а между тем Голован в ту минуту и кричит с той стороны: «Эй! кто мои ворота угнал! назад давай!»

¹⁹ Никодим – орловский епископ в 1828–1839 годах.

²⁰ Иметь еще одну кавалерию – стать кавалером ордена еще раз.

Панька был малый не большой отваги и не приучен был рассчитывать на чье-либо великодушие, а потому испугался и сделал глупость. Вместо того чтобы подать Головану назад его плот, Панька взял да и схоронился в одну из глиняных ямок, которых тут было множество. Залег Панька в яминку, и сколько его Голован ни звал с той стороны, он не показывается. Тогда Голован, видя, что ему не достать своего корабля, сбросил тулуп, разделся донага, связал весь свой гардероб ремнем, положил на голову и поплыл через Орлик. А вода была еще очень холодна.

Панька об одном заботился, чтобы Голован его не увидел и не побил, но скоро его внимание было привлечено к другому. Голован переплыл реку и начал было одеваться, но вдруг присел, глянул себе под левое колено и остановился.

Было это так близко от яминки, в которой прятался Панька, что ему все было видно из-за глыбки, которою он мог закрываться. И в это время уже было совсем светло, заря уже румянела, и хотя большинство горожан еще спали, но под городецким садом появился молодой парень с косою, который начал окашивать и складывать в плетушку крапиву.

Голован заметил косаря и, встав на ноги, в одной рубахе, громко крикнул ему:

– Малец, дай скорей косу!

Малец принес косу, а Голован говорит ему:

– Поди мне большой лопух сорви, – и как парень от него отвернулся, он снял косу с косья, присел опять на корточки, оттянул одною рукою икру у ноги, да в один мах всю ее и отрезал прочь. Отрезанный шмат мяса величиною в деревенскую лепешку швырнул в Орлик, а сам зажал рану обеими руками и повалился.

Увидев это, Панька про все позабыл, выскочил и стал звать косаря.

Парни взяли Голована и перетащили к нему в избу, а он здесь пришел в себя, велел достать из коробки два полотенца и скрутить ему порез как можно крепче. Они стянули его изо всей силы, так что кровь перестала.

Тогда Голован велел им поставить около него ведро с водою и ковшик, а самим идти к своим делам, и никому про то, что было, не сказывать. Они же пошли и, трясаясь от ужаст, всем рассказали. А услышавшие про это сразу догадались, что Голован это сделал неспроста, а что он таким образом, изболясь за людей, бросил язву шмат своего тела на тот конец, чтобы он прошел жертвией по всем русским рекам из малого Орлика в Оку, из Оки в Волгу, по всей Руси великой до широкого Каспия, и тем Голован за всех отстрадал, а сам он от этого не умрет, потому что у него в руках аптекарев живой камень и он человек «несмертельный».

Сказ этот пришел всем по мысли, да и предсказание оправдалось. Голован не умер от своей страшной раны. Лихая же хвороба после этой жертвы действительно прекратилась, и настали дни успокоения: поля и луга уключились густой зеленью, и привольно стало по ним разезжать молодому Егорию светлохрабром, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, а по концам звезды переходящие. Отбелились холсты свежешю юрьевой росою²¹, выехал вместо витязя Егория в поле Иеремия пророк с тяжелым ярмом, волоча сохи да бороны, засвистали соловьи в Борисов день, утешая мученика, стараниями святой Мавры засинела крепкая рассада, прошел Зосима святой с долгим костылем, в набалдашнике пчелиную матку пронес; минул день Ивана Богословца, «Николина батюшки», и сам Никола отпразднован, и стал на дворе Симон Зилот, когда земля именинница. На землины именины Голован вылез на завалинку и с той поры мало-помалу ходить начал и снова за свое дело принялся. Здоровье его, по-видимому, нимало не пострадало, но только он «шкандыбать» стал – на левую ножку подпрыгивал.

О трогательности и отваге его кровавого над собою поступка люди, вероятно, имели высокое мнение, но судили о нем так, как я сказал: естественных причин ему не доискивались,

²¹ Юрьева роса – роса в Юрьев день (23 апреля).

а, окутав все своею фантазиею, сочинили из естественного события баснословную легенду, а из простого, великодушного Голована сделали мифическое лицо, что-то вроде волхва, кудесника, который обладал неодолимым талисманом и мог на все отважиться и нигде не погибнуть.

Знал или не знал Голован, что ему присвоивала такие дела людская молва, – мне неизвестно. Однако я думаю, что он знал, потому что к нему очень часто обращались с такими просьбами и вопросами, с которыми можно обращаться только к доброму волшебнику. И он на многие такие вопросы давал «помогательные советы», и вообще ни за какой спрос не сердился. Бывал он по слободам и за коровьего врача, и за людского лекаря, и за инженера, и за звездоочия, и за аптекаря. Он умел сводить шелуди и коросту опять-таки какою-то «ермоловской мазью», которая стоила один медный грош на трех человек; вынимал соленым огурцом жар из головы; знал, что травы надо собирать с Ивана до полу-Петра²², и отлично «воду показывал», то есть где можно колодец рыть. Но это он мог, впрочем, не во всякое время, а только с начала июня до св. Федора Колодезника, пока «вода в земле слышно, как идет по суставчикам». Мог Голован сделать и все прочее, что только человеку надо, но на остальное у него перед богом был зарок дан за то, чтобы пупырух остановился. Тогда он это кровью своею подтвердил и держал крепко-накрепко. Зато его и бог любил и миловал, а деликатный в своих чувствах народ никогда не просил Голована о чем не надобно. По народному этикету это так у нас принято.

Головану, впрочем, столь не тягостно было от мистического облака, которым повивала его народная fama²³, что он не употреблял, кажется, никаких усилий разрушить все, что о нем сложилось. Он знал, что это напрасно.

Когда я с жадностью пробежал листы романа Виктора Гюго «Труженики моря» и встретил там Жильята, с его гениально очерченной строгостью к себе и снисходительностью к другим, достигшей высоты совершенного самоотвержения, я был поражен не одним величием этого облика и силою его изображения, но также и тождеством гернсейского героя с живым лицом, которого я знал под именем Голована. В них жил один дух и бились самоотверженным боем сходные сердца. Не много разнились они и в своей судьбе: во всю жизнь вокруг них густела какая-то тайна, именно потому, что они были слишком чисты и ясны, и как одному, так и другому не выпало на долю ни одной капли личного счастья.

7

Голован, как и Жильят, казался «сумнителен в вере».

Думали, что он был какой-нибудь раскольник, но это еще не важно, потому что в Орле в то время было много всякого разноверия: там были (да, верно, и теперь есть) и простые староверы, и староверы не простые, – и федосеевцы, «пилипоны», и перекрещиванцы, были даже хлысты и «люди божии», которых далеко высылали судом человеческим. Но все эти люди крепко держались своего стада и твердо порицали всякую иную веру, – особились друг от друга в молитве и ядении, и одних себя разумели на «пути правом». Голован же вел себя так, как будто он даже совсем не знал ничего настоящего о наилучшем пути, а ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил, и сам садился за чей угодно стол, где его приглашали. Даже жиду Юшке из гарнизона он давал для детей молока. Но нехристианская сторона этого последнего поступка по любви народа к Головану нашла себе кое-какое извинение: люди проникли, что Голован, задабривая Юшку, хотел добыть у него тщательно сохраняемые евреями «иудины губы», которыми можно перед судом отолгаться, или «волосатый овощ», который жидам жажду тушит, так что они могут вина не пить. Но что совсем было непонятно в Головане, это то, что он водился с медником Антоном, который пользовался в рассуждении всех

²² С Ивана до полу-Петра – с 8 мая до 30 июня.

²³ Слух, молва (лат.).

настоящих качеств самую плохую репутацию. Этот человек ни с кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил какие-то таинственные зодии и даже что-то сочинял. Жил Антон в слободе, в пустой горенке на чердаке, платя по полтине в месяц, но держал там такие страшные вещи, что к нему никто не заходил, кроме Голована. Известно было, что Антон имел здесь план, рекомый «зодии»²⁴, и стекло, которым «с солнца огонь изводил»; а кроме того, у него был лаз на крышу, куда он вылезал ночами наружу, садился, как кот, у трубы, «выставлял плезирую трубку» и в самое сонное время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому инструменту не знала пределов, особенно в звездные ночи, когда ему видны были все зодии. Как только прибежит от хозяина, где работал медную работу, – сейчас проскользнет через свою горенку и уже лезет из слухового окна на крышу, и если есть на небе звезды, он целые ночи сидит и все смотрит. Ему это могли бы простить, если бы он был ученый или, по крайней мере, немец, но как он был простой русский человек – его долго отучали, не раз доставали шестами и бросали навозом и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не замечал, как его тычут. Все, смеясь, звали его «Астроном», а он и в самом деле был астроном²⁵. Человек он был тихий и очень честный, но вольнодумец; уверял, что земля вертится и что мы бываем на ней вниз головами. За эту последнюю очевидную несообразность Антон был бит и признан дурачком, а потом, как дурачок, стал пользоваться свободой мышления, составляющего привилегию этого выгодного у нас звания, и заходил до невероятного. Он не признавал седьмин Даниила прореченными на русское царство, говорил, что «зверь десятирогий» заключается в одной аллегории, а зверь медведица – астрономическая фигура, которая есть в его планах. Также он вовсе неправославно разумел о «крыле орла», о фиалах и о печати антихристовой. Но ему, как слабоумному, все это уже прощалось. Он был не женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было бы кормить жену, – да и какая же дура решилась бы выйти за астронома? Голован же был в полном уме, но не только водился с астрономом, а и не шутил над ним; их даже видали ночами вместе на астрономовой крыше, как они, то один, то другой, переменяясь, посматривали в плезирую трубу на зодии. Понятно, что за мысли могли внушать эти две стоящие ночью у трубы фигуры, вокруг которых работали мечтательное суеверие, медицинская поэзия, религиозный бред и недоумение... И, наконец, сами обстоятельства ставили Голована в несколько странное положение: неизвестно было – какого он прихода... Холодная хибара его торчала на таком отлете, что никакие духовные стратегии не могли ее приписать к своему ведению, а сам Голован об этом не заботился, и если его уже очень докучно расспрашивали о приходе, отвечал:

– Я из прихода творца-вседержителя, – а такого храма во всем Орле не было.

Жильят, в ответ на предлагаемый ему вопрос, где его приход, только поднимал вверх палец и, указав на небо, говорил:

– Вон там, – но сущность обоих этих ответов одинакова.

Голован любил слушать о всякой вере, но своих мнений на этот счет как будто не имел, и на случай неотступного вопроса: «Какое веруеши?» – читал:

«Верую во единого бога-отца, вседержителя творца, видимым же всем и невидимым».

Это, разумеется, уклончивость.

²⁴ Зодия – одна из двенадцати частей Зодиака.

²⁵ Я и мой товарищ по гимназии, нынче известный русский математик К. Д. Краевич, знавали этого антика в конце сороковых годов, когда мы были в третьем классе Орловской гимназии и жили вместе в доме Лосевых; «Антон-астроном» (тогда уже престарелый) действительно имел кое-какие понятия о небесных светилах и о законах вращения, но главное, что было интересно: он сам готовил для своих труб стекла, отшлифовывая их песком и камнем, из донышек толстых хрустальных стаканов, и через них он оглядывал целое небо... жил он нищим, но не чувствовал своей нищеты, потому что находился в постоянном восторге от «зодии» (прим. авт.).

Впрочем, напрасно бы кто-нибудь подумал, что Голован был сектант или бежал церковности. Нет, он даже ходил к отцу Петру в Борисоглебский собор «совесть поверять». Придет и скажет:

– Посрамите меня, батюшка, что-то себе очень не нравлюсь.

Я помню этого отца Петра, который к нам хаживал, и однажды, когда мой отец сказал ему к какому-то слову, что Голован, кажется, человек превосходной совести, то отец Петр отвечал:

– Не сомневайтесь; его совесть снега белей.

Голован любил возвышенные мысли и знал Поппе²⁶, но не так, как обыкновенно знают писателя люди, прочитавшие его произведение. Нет; Голован, одоббив «Опыт о человеке», подаренный ему тем же Алексеем Петровичем Ермоловым²⁷, знал всю поэму наизусть. И я помню, как он, бывало, слушает, стоя у притолки, рассказ о каком-нибудь новом грустном происшествии и, вдруг вздохнув, отвечает:

Любезный Болинброк, гордыня в нас одна
Всех заблуждений сих неистовых вина.

Читатель напрасно стал бы удивляться, что такой человек, как Голован, перекидывался стихами Поппе. Тогда было время жестокое, но поэзия была в моде, и ее великое слово было дорого даже мужам кровей. От господ это снисходило до плебса. Но теперь я дохожу до самого большого казуса в истории Голована – такого казуса, который уже несомненно бросал на него двусмысленный свет, даже в глазах людей, не склонных верить всякому вздору. Голован представлялся не чистым в каком-то отдаленном прошлом. Это оказалось вдруг, но в самых резких видах. Появилась на стогах Орла личность, которая ни в чьих глазах ничего не значила, но на Голована заявляла могущественные права и обходилась с ним с невероятной наглостью.

Эта личность и история ее появления есть довольно характерный эпизод из истории тогдашних нравов и не лишенная колорита бытовая картинка. А потому – прошу минуту внимания в сторону, – немножко вдаль от Орла, в края еще более теплые, к тихоструйной реке в ковровых берегах, на народный «пир веры», где нет места деловой, будничной жизни; где все, решительно все, проходит через своеобычную религиозность, которая и придает всему свою особенную рельефность и живость. Мы должны побывать при открытии мощей нового угодника, что составляло для самых разнообразных представителей тогдашнего общества событие величайшего значения. Для простого же народа это была эпопея, или, как говорил один тогдашний вития, – «свершался священный пир веры».

8

Такого движения, которое началось ко времени открытия торжества, не может передать ни одно из напечатанных в то время сказаний. Живая, но низменная дела сторона от них уходила. Это не было нынешнее спокойное путешествие в почтовых экипажах или по железным дорогам с остановками в благоустроенных гостиницах, где есть все нужное, и за сходную цену. Тогда путешествие было подвигом, и в этом случае благочестивым подвигом, которого, впрочем, и стоило ожидаемое торжественное событие в церкви. В нем было также много поэзии, – и опять-таки особенной – пестрой и проникнутой разнообразными переливами церковно-бытовой жизни, ограниченной народной наивности и бесконечных стремлений живого духа.

Из Орла к этому торжеству отправилось множество народа. Больше всего, разумеется, усердствовало купечество, но не отставали и средней руки помещики, особенно же валил про-

²⁶ Поппе (Поп А.) (1688–1744) – английский поэт.

²⁷ Ермолов Алексей Петрович (1772–1861) – русский генерал, соратник Суворова и Кутузова.

стой народ. Эти шли пешком. Только те, кто вез «для цельбы» немощных, тянулись на какой-нибудь клячонке. Иногда, впрочем, и немощных везли на себе и даже не очень тем тяготились, потому что с немощных на постоянных дворах за все брали дешевле, а иногда даже и совсем пускали без платы. Было немало и таких, которые нарочно на себя «болезни сказывали: под лоб очи пушали, и двое третьего, по переменкам, на колесеньках везли, чтобы иметь доход жертвенный на воск, и на масло, и на другие обряды».

Так я читал в сказании, не печатанном, но верном, списанном не по шаблону, а с «живого видения», и человеком, предпочитавшим правду тенденциозной лживости того времени.

Движение было такое многолюдное, что в городах Ливнах и в Ельце, через которые лежал путь, не было мест ни на постоянных дворах, ни в гостиницах. Случалось, что важные и именитые люди ночевали в своих каретах. Овес, сено, крупа – все по тракту поднялось в цене, так что, по замечанию моей бабушки, воспоминаниями которой я пользуюсь, с этих пор в нашей стороне, чтобы накормить человека студенем, щами, бараниной и кашей, стали брать на дворах по пятьдесят две копейки (то есть пятиалтынный), а до того брали двадцать пять (или 7 1/2 коп.). По нынешнему времени, конечно, и пятиалтынный – цена совершенно невероятная, однако это так было, и открытие мощей нового угодника в подъеме ценности на жизненные припасы имело для прилегающих мест такое же значение, какое в недавние годы имел для Петербурга пожар мстинского моста. «Цена вскочила и такая и осталась».

Из Орла, в числе прочих паломников, отправилось на открытие семейство купцов С-х, людей в свое время очень известных, «ссыпщиков», то есть, проще сказать, крупных кулаков, которые ссыпают в амбары хлеб с возов у мужиков и потом продают свои «ссыпки» оптовым торговцам в Москву и в Ригу. Это прибыльное дело, которым после освобождения крестьян было не погнушались и дворяне; но они любили долго спать и скоро горьким опытом дознали, что даже к глупому кулачному делу они неспособны. Купцы С. считались, по своему значению, первыми ссыпщиками, и важность их простиралась до того, что дому их вместо фамилии была дана возвышающая кличка. Дом был, разумеется, строго благочестивый, где утром молились, целый день теснили и обирали людей, а потом вечером опять молились. А ночью псы цепями по канатам гремят, и во всех окнах – «лампад и сияние», громкий храп и чьи-нибудь жгучие слезы.

Правил домом, по-нынешнему сказали бы, «основатель фирмы», – а тогда просто говорили «сам». Был это мякенький старичок, которого, однако, все как огня боялись. Говорили о нем, что он умел мягко стлать, да было жестко спать: обходил всех словом «матинька», а спускал к черту в зубы. Тип известный и знакомый, тип торгового патриарха.

Вот этот-то патриарх и ехал на открытие «в большом составе» – сам, да жена, да дочь, которая страдала «болезнью меланхолии» и подлежала исцелению. Испытаны были над нею все известные средства народной поэзии и творчества: ее поили бодрящим девясил²⁸, обсыпали пиониею, которая унимает надхождение стени²⁹, давали нюхать майран, что в голове мозг поправляет, но ничто не помогло, и теперь ее взяли к угоднику, поспешая на первый случай, когда пойдет самая первая сила. Вера в преимущество первой силы очень велика, и она имеет своим основанием сказание о силоамской купели, где тоже исцелевали первые, кто успевал войти по возмущении воды.

Ехали орловские купцы через Ливны и через Елец, претерпевая большие затруднения, и совершенно измучились, пока достигли к угоднику. Но улучшить «первый случай» у угодника оказалось невозможным. Народу собралась такая область, что и думать нечего было протолкаться в храм, ко всеобщей под «открытый день», когда, собственно, и есть «первый случай», – то есть когда от новых мощей исходит самая большая сила.

²⁸ Девясил – растение, используемое в народе для лечения грудных болезней.

²⁹ Надхождение стени (др. – слав.) – приступ боли (стенаний).

Купец и жена его были в отчаянии, – равнодушнее всех была дочка, которая не знала, чего она лишалась. Надежд никаких не было помочь горю, – столько было знати, с такими фамилиями, а они простые купцы, которые хотя в своем месте что-нибудь и значили, но здесь, в таком скоплении христианского величия, совсем потерялись. И вот однажды, сидя в горе под своею кибиточкою за чаем на постоялом дворе, жалуется патриарх жене, что уже и надежды никакой не полагает достигнуть до святого гроба ни в первых, ни во вторых, а разве доведется как-нибудь в самых последних, вместе с ниварями и рыбаками, то есть вообще с простым народом. А тогда уже какая радость: и полиция освирепеет, и духовенство заморится – вдоволь помолиться не даст, а совать станет. И вообще тогда все не то, когда уже приложится столько тысяч уст всякого народа. В таковых видах можно было и после приехать, а они не того доспевали: они ехали, томились, дома дело на приказчицкие руки бросили и дорогою за все втридорога платили, и вот тебе вдруг какое утешение.

Пробовал купец раз и два достигнуть до дьяконов – готов был дать благодарность, но и думать нечего, – с одной стороны одно стеснение, в виде жандарма с белой рукавицею или казака с плетью (их тоже пришло к открытию мощей множество), а с другой – еще опаснее, что задавит сам православный народушко, который волновался, как океан. Уже и были «разы», и даже во множестве, и вчера, и сегодня. Шарахнутся где-нибудь добрые христиане от взмаха казачьей нагайки целой стеною в пять, в шесть сот человек, и как попрут да поналяжут стеной дружененько, так из середины только стон да пах пойдет, а потом, по освобождении, много видано женского уха в серьгах рваного и персты из-под колец верчены, а две-три души и совсем богу представлялись.

Купец все эти трудности и высказывает за чаем жене и дочери, для которой особенно надо было улучшить первые силы, а какой-то «пустошный человек», неведомо, городского или сельского звания, все между разными кибитками ходит под сараем да как будто засматривает на орловских купцов с намерением.

«Пустошных людей» тогда тоже собралось здесь много. Им не только было свое место на этом пиршестве веры, но они даже находили здесь себе хорошие занятия; а потому понахлынули сюда в изобилии из разных мест, и особенно из городов, прославленных своими воровскими людьми, то есть из Орла, Кром, Ельца и из Ливен, где славились большие мастера чудеса строить. Все сошедшиеся сюда пустошные люди искали себе своих промыслов. Отважнейшие из них действовали строем, располагаясь кучами в толпах, где удобно было при содействии казака произвести натиск и смятение и во время суматохи обыскать чужие карманы, сорвать часы, поясные пряжки и повыдергать серьги из ушей; а люди более степенные ходили в одиночку по дворам, жаловались на убожество, «сказывали сны и чудеса», предлагали привороты, отвороты и «старым людям секретные помочи из китового семени, вороньего сала, слоновьей спермы» и других снадобий, от коих «сила постоянная движет». Снадобья эти не утрачивали своей цены и здесь, потому что, к чести человечества, совесть не за всеми исцелениями позволяла обращаться к угоднику. Не менее охотно пустошные люди смирного обычая занимались просто воровством и при удобных случаях нередко дочиста обворовывали гостей, которые за неимением помещений жили в своих повозках и под повозками. Места везде было мало, и не все повозки находили себе приют под сараями постоялых дворов; другие же стояли обозом за городом на открытых выгонах. Тут шла жизнь еще более разнообразная и интересная, и притом еще более полная оттенков священной и медицинской поэзии и занимательных плутней. Темные промышленники шныряли повсеместно, но приютом им был этот загородный «бедный обоз» с окружавшими его оврагами и лачужками, где шло ожесточенное корчемство³⁰ водкой и в двух-трех повозках стояли румяные солдатики, приехавшие сюда в складчину. Тут же фабриковались стружки от гроба, «печатная земля», кусочки истлевших риз и даже «частицы». Ино-

³⁰ Корчемство – торговля спиртными напитками (корчма – кабак), независимая от государственной.

гда между промышлявшими этими делами художниками попадались люди очень остроумные и выкидывали штуки интересные и замечательные по своей простоте и смелости. Таков был и тот, которого заметило благочестивое орловское семейство. Проходимец подслушал их сетование о невозможности приступить к угоднику, прежде чем от мошей истекнут первые струи целебной благодати, и прямо подошел и заговорил начистоту:

– Скорби-де ваши я слышал и могу помочь, а вам меня избегать нечего... Без нас вы здесь теперь желаемого себе удовольствия, при столь большом и именитом съезде, не получите, а мы в таковых разгах бывали и средства знаем. Угодно вам быть у самых первых сил угодника – не пожалейте за свое благополучие сто рублей, и я вас поставлю.

Купец посмотрел на субъекта и отвечал:

– Полно врать.

Но тот свое продолжал:

– Вы, – говорит, – вероятно, так думаете, судя по моему ничтожеству; но ничтожное в очах человеческих может быть совсем в другом расчислении у бога, и я за что берусь, то твердо могу исполнить. Вы вот смущаетесь насчет земного величия, что его много наехало, а мне оно все прах, и будь тут хоть видимо-невидимо одних принцев и королей, они нимало нам не могут препятствовать, а даже все сами перед нами расступятся. А потому, если вы желаете сквозь все пройти чистым и гладким путем, и самых первых лиц увидеть, и другу божию дать самые первые лобызания, то не жалеите того, что сказано. А если ста рублей жалко и не побрезгаете компанией, то я живо подберу еще два человека, коих на примете имею, и тогда вам дешевле станет.

Что оставалось делать благочестивым поклонникам? Конечно, рискованно было верить пустотному человеку, но и случая упустить не хотелось, да и деньги требовались небольшие, особенно если в компании... Патриарх решился рискнуть и сказал:

– Ладь компанию.

Пустошный человек взял задаток и побежал, наказав семейству рано пообедать и за час перед тем, как ударят к вечерне в первый колокол, взять каждому с собой по новому ручному полотенцу и идти за город, на указанное место «в бедный обоз», и там ожидать его. Оттуда немедленно же должен был начинаться поход, которого, по уверениям антрепренера, не могли остановить никакие принцы, ни короли.

Таковые «бедные обозы» в больших или меньших размерах становились широким станом при всех подобных сборищах, и я сам видал их и помню в Коренной под Курском, а о том, о котором наступает повествование, слышал рассказы от очевидцев и свидетелей тому, что сейчас будет описано.

9

Место, занятое бедным становищем, было за городом, на обширном и привольном выгоне между рекою и столбовою дорогою, а в конце примыкало к большому извилистому оврагу, по которому бежал ручеек и рос густой кустарник; сзади начинался могучий сосновый лес, где клектали орлы.

На выгоне расположилось множество бедных повозок и колымаг, представлявших, однако, во всей своей нищете довольно пестрое разнообразие национального гения и изобретательности. Были обыкновенные рогожные будки, полотняные шатры во всю телегу, «беседки» с пушистым ковылем-травой и совершенно безобразные лубковые окаты. Целый большой луб с вековой липы согнут и приколочен к тележным грядкам, а под ним лежка: лежат люди ногами к ногам в нутро экипажа, а головы к вольному воздуху, на обе стороны вперед и назад. Над возлежащими проходит ветерок и вентилирует, чтобы им можно было не задохнуться в собственном духу. Тут же у взвязанных к оглоблям пихтерей с сеном и хрептугов стояли кони, боль-

шею частью тощие, все в хомутах и иные, у бережливых людей, под рогожными «крышками». При некоторые повозках были и собачки, которых хотя и не следовало бы брать в паломничество, но это были «усердные» собачки, которые догнали своих хозяев на втором, третьем покорме и ни при каком бойле не хотели от них отвязаться. Им здесь не было места, по настоящему положению паломничества, но они были терпимы и, чувствуя свое контрабандное положение, держали себя очень смирно; они жались где-нибудь у тележного колеса под дегтяркою и хранили серьезное молчание. Одна скромность спасала их от остракизма и от опасного для них крещеного цыгана, который в одну минуту «снял с них шубы». Здесь, в бедном обозе, под открытым небом жилось весело и хорошо, как на ярмарке. Всякого разнообразия здесь было более, чем в гостиничных номерах, доставшихся только особым избранникам, или под навесами постоянных дворов, где в вечном полумраке мостились в повозках люди второй руки. Правда, в бедный обоз не заходили тучные иноки и иподиаконы, не видать было даже и настоящих, опытных странников, но зато здесь были свои мастера на все руки и шло обширное кустарное производство разных «святостей». Когда мне довелось читать известное в киевских хрониках дело о подделке мощей из бараньих костей, я был удивлен младенчеством приема этих фабрикантов в сравнении с смелостью мастеров, о которых слышал ранее. Тут это было какое-то откровенное неглиже с отвагой. Даже самый путь к выгону по Слободской улице уже отличался ничем не стесняемою свободою самой широкой предприимчивости. Люди знали, что этакие случаи не часто выпадают, и не теряли времени: у многих ворот стояли столики, на которых лежали иконки, крестики и бумажные сверточки с гнилою древесною пылью, будто бы от старого гроба, и тут же лежали стружки от нового. Весь этот материал был, по уверению продавцов, гораздо высшего сорта, чем в настоящих местах, потому что принесен сюда самими столярами, копачами и плотниками, производившими самые важные работы. У входа в лагерь вертелись «носящие и сидящие» с образками нового угодника, заклеенными пока белую бумажкою с крестиком. Образки эти продавались по самой дешевой цене, и покупать их можно было сию же минуту, но открывать нельзя было до отслужения первого молебна. У многих недостойных, купивших такие образки и открывших их раньше времени, они оказались чистыми дощечками. В овраге же за становищем, под саями, опрокинутыми кверху полозьями, жили у ручья цыган с цыганкою и цыганятами. Цыган и цыганка имели тут большую врачебную практику. У них на одном полозе был привязан за ногу большой безголосый «петух», из которого выходили по утрам камни, «двигавшие постельную силу», и цыган имел кошкину траву, которая тогда была весьма нужна к «болячкам афедроновым». Цыган этот был в своем роде знаменитость. Слава о нем шла такая, что он, когда в неверной земле семь спящих дев открывали, и там он не лишний был: он старых людей на молодых переделывал, прутяные сечения господским людям лечил и военным кавалерам заплечный бой из нутра через водоток выводил. Цыганка же его, кажется, знала еще большие тайны природы: она две воды мужьям давала: одну ко обличению жен, кои блудно грешат; той воды если женам дать, она в них не удержится, а насквозь пройдет; а другая вода магнитная: от этой воды жена неохочая во сне страстно мужа обоймет, а если усилится другого любить – с постели станет падать.

Словом, дело здесь кипело, и многообразные нужды человечества находили тут полезных пособников.

Пустошный человек как завидел купцов, не стал с ними разговаривать, а начал их манить, чтобы сошли в овражек, и сам туда же вперед юркнул.

Опять это показалось страшновато: можно было опасаться засады, в которой могли скрываться лихие люди, способные обобрать богомольцев догола, но благочестие превозмогло страх, и купец после небольшого раздумья, помолясь богу и помянув угодника, решился переступить шага три вниз.

Сходил он осторожно, держась за кустики, а жене и дочери приказал в случае чего-нибудь кричать изо всей мочи.

Засада здесь и в самом деле была, но не опасная: купец нашел в овраге двух таких же, как он, благочестивых людей в купеческом одеянии, с которыми надо было «сладиться». Все они должны были здесь заплатить пустотному уговорную плату за проводы их к угоднику, а тогда он им откроет свой план и сейчас их поведет. Долго думать было нечего, и упорство ни к чему не вело: купцы сложили сумму и дали, а пустошный открыл им свой план, простой, но, по простоте своей, чисто гениальный: он заключался в том, что в «бедном обозе» есть известный пустошному человеку человек расслабленный, которого надо только поднять и нести к угоднику, и никто их не остановит и пути им не затруднит с болящим. Надо только купить для слабого болезный одрец [носилки] да покровец и, подняв его, нести всем шестерым, подвязавши под одр полотенчики.

Мысль эта казалась в первой своей части превосходною, – с расслабленным носителем, конечно, пропустят, но каковы быть могут последствия? Не было бы дальше конфуза? Однако и на этот счет все было успокоено, проводник сказал только, что это не стоит внимания.

– Мы таковые разы, – говорит, – уже видали: вы, в ваше удовольствие, сподобитесь все видеть и приложиться к угоднику во время всенощного пения, а в рассуждении болящего, будь воля угодника, – пожелает он его исцелить – и исцелит, а не пожелает – опять его воля. Теперь только скиньтесь скорее на одрец и на покровец, а у меня уж все это припасено в близком доме, только надо деньги отдать. Мало меня здесь повремените, и в путь пойдем.

Взял, поторговавшись, еще на снасть по два рубля с лица и побегал, а через десять минут назад вернулся и говорит:

– Идем, братия, только не бойко выступайте, а поспустите малость очи побогомысленнее.

Купцы спустили очи и пошли с благоговением и в этом же «бедном обозе» подошли к одной повозке, у которой стояла у хрептуга совсем дохлая клячонка, а на передке сидел маленький золотушный мальчик и забавлял себя, перекидывая с руки на руку ошипанные плоднички желтых пупавок [ромашек]. На этой повозке под липовым лубком лежал человек средних лет, с лицом самих пупавок желтее, и руки тоже желтые, все вытянутые и как мягкие плети валяются.

Женщины, завидев этакую ужасную немощь, стали креститься, а проводник их обратился к больному и говорит:

– Вот, дядя Фотей, добрые люди пришли помочь мне тебя к исцелению нести. Воли божией час к тебе близится.

Желтый человек стал поворачиваться к незнакомым людям и благодарственно на них смотрит, а перстом себе на язык показывает.

Те догадались, что он немой. «Ничего, – говорят, – ничего, раб божий, не благодари нас, а богу благодарствуй», – и стали его вытаскивать из повозки – мужчины под плечи и под ноги, а женщины только его слабые ручки поддерживали и еще более напугались страшного состояния больного, потому что руки у него в плечевых суставах совсем «перевалились» и только волосяными веревками были кое-как перевязаны.

Одрик стоял тут же. Это была небольшая старая кровать, плотно засыпанная по углам клоповыми яйцами; на кровати лежал сноп соломы и кусок редкого миткаля с грубо выведенным красками крестом, копнем и тростию. Проводник ловкою рукою распушил соломку, чтобы на все стороны с краев свешивалась, положили на нее желтого расслабленного, покрыли миткалем и понесли.

Проводник шел впереди с глиняной жаровенкой и крестообразно покуривал.

Еще они и из обоза не вышли, как на них уже начали креститься, а когда пошли по улицам, внимание к ним становилось все серьезнее и серьезнее: все, видя их, понимали, что это к чудотворцу несут болящего, и присоединялись. Купцы шли поспешаючи, потому что слышали благовест ко всенощной, и пришли с своею ношею как раз вовремя, когда запели: «Хвалите имя господне, рабы господа».

Храм, разумеется, не вмещал и сотой доли собравшегося народа; видимо-невидимо людей сплошною массою стояло вокруг церкви, но чуть увидали одр и носящих, все загудели: «Расслаблого несут, чудо будет», – и вся толпа расступилась.

До самых дверей стала живая улица, и дальше все сделалось, как обещал проводник. Даже и твердое упование веры его не осталось в постыжении: расслабленный исцелел. Он встал, он сам вышел на своих ногах «славяще и благодаряще». Кто-то все это записал на записочку, в которой, со слов проводника, исцеленный расслабленный был назван «родственником» орловского купца, через что ему многие завидовали, и исцеленный за поздним временем не пошел уже в свой бедный обоз, а ночевал под сараем у своих новых родственников.

Все это было приятно. Исцеленный был интересным лицом, на которого многие приходили взглянуть и кидали ему «жертвки».

Но он еще мало говорил и неаявственно – очень шамкал с непривычки и больше всего на купцов исцеленною рукою показывал: «их-де спрашивайте, они родственники, они все знают». И тогда те поневоле говорили, что он их родственник; но вдруг под все это подкралась неожиданная неприятность: в ночь, наставшую после исцеления желтого расслабленного, было замечено, что у бархатного намета над гробом угодника пропал один золотой шнур с такою же золотою кистью.

Дознавали об этом из-под руки и спросили орловского купца, не заметил ли он, близко подходя, и что такое за люди помогали ему нести больного родственника? Он по совести сказал, что люди были незнакомые, из бедного обоза, по усердию несли. Возили его туда узнавать место, людей, клячу и тележку с золотушным мальчиком, игравшим пупавками, но тут только одно место было на своем месте, а ни людей, ни повозки, ни мальчика с пупавками и следа не было.

Дознание бросили, «да не молва будет в людях». Кисть повесили новую, а купцы после такой неприятности скорее собрались домой. Но только тут исцеленный родственник осчастливил их новой радостью: он обязывал их взять его с собою и в противном случае угрожал жалобою и про кисть напомнил.

И потому, когда пришел час к отъезду купцов восвояси, Фотей очутился на передке рядом с кучером, и скинуть его было невозможно до лежавшего на их пути села Крутого. Здесь был в то время очень опасный спуск с одной горы и тяжелый подъем на другую, и потому случались разные происшествия с путниками: падали лошади, переворачивались экипажи и прочее в этом роде. Село Крутое непременно надо было проследовать засветло, иначе надо заночевать, а в сумерки никто не рисковал спускаться.

Наши купцы тоже здесь переночевали и утром при восхождении на гору «растерялись», то есть потеряли своего исцеленного родственника Фотея. Говорили, будто с вечера они «добре его угостили из фляги», а утром не разбудили и съехали, но нашлись другие добрые люди, которые поправили эту растерянность и, прихватив Фотея с собою, привезли его в Орел.

Здесь он отыскал своих неблагодарных родственников, покинувших его в Крутом, но не встретил у них родственного приема. Он стал нищенствовать по городу и рассказывать, будто купец ездил к угоднику не для дочери, а молился, чтобы хлеб подорожал. Никому это точнее Фотей известно не было.

10

Не в долгих днях после появления в Орле известного и покинутого Фотея в приходе Михаила Архангела у купца Акулова были «бедные столы». На дворе, на досках, дымились большие липовые чаши с лапшой и чугуны с кашей, а с хозяйского крыльца раздавали по рукам ватрушки с луком и пироги. Гостей набралось множество, каждый со своей ложкой в сапоге или

за пазухой. Пирогамы оделял Голован. Он часто был зван к таким «столам» архитриклином³¹ и хлебодаром, потому что был справедлив, ничего не утаит себе и основательно знал, кто какого пирога стоит – с горохом, с морковью или с печенкой.

Так и теперь он стоял и каждому подходящему «оделял» большой пирог, а у кого знал в доме немощных – тому два и более «на недужную порцию». И вот в числе разных подходящих подошел к Головану и Фотей, человек новый, но как будто удививший Голована. Увидав Фотея, Голован словно что-то вспомнил и спросил:

– Ты чей и где живешь?

Фотей сморщился и проговорил:

– Я ничей, а божий, обшит рабьей кожей, а живу под рогожей.

А другие говорят Головану: «Его купцы привезли от угодника... Это Фотей исцеленный».

Но Голован улыбнулся и заговорил было:

– С какой стати это Фотей! – но в эту же самую минуту Фотей вырвал у него пирог, а другою рукою дал ему оглушительную пощечину и крикнул:

³¹ Архитриктин (*греч.*) – старейшина, хозяин.



– Не брешь лишнего! – и с этим сел за столы, а Голован стерпел и ни слова ему не сказал. Все поняли, что, верно, это так надобно, очевидно, исцеленный юродует, а Голован знает, что это надо сносить. Но только «в каком расчислении стоил Голован такого обращения»? Это

была загадка, которая продолжалась многие годы и установила такое мнение, что в Головане скрывается что-нибудь очень бедовое, потому что он Фотей боится.

И впрямь тут было что-то загадочное. Фотей, скоро павший в всеобщем мнении до того, что вслед ему кричали: «У святого кисть украл и в кабаке пропил», – с Голованом обходился чрезвычайно дерзко.

Встречая Голована где бы то ни было, Фотей заступал ему дорогу и кричал: «Долг подавай». И Голован, нимало ему не возражая, лез за пазуху и доставал оттуда медную гривну. Если же у него не случалось с собою гривны, а было менее, то Фотей, которого за пестроту его лохмотьев прозвали Горностаем, швырял Головану недостаточную дачу назад, плевал на него и даже бил его, швырял камнями, грязью или снегом.

Я сам помню, как однажды в сумерки, когда отец мой со священником Петром сидели у окна в кабинете, а Голован стоял под окном и все они втроем вели свой разговор, в открытые на этот случай ворота вбежал ободранный Горностай и с криком: «Забыл, подлец!» – при всех ударил Голована по лицу, а тот, тихонько его отстранив, дал ему из-за пазухи медных денег и повел его за ворота.

Такие поступки были никому не в редкость, и объяснение, что Горностай что-нибудь за Голованом знает, было, конечно, весьма естественно. Понятно, что это возбуждало у многих и любопытство, которое, как вскоре увидим, имело верное основание.

11

Мне было около семи лет, когда мы оставили Орел и переехали на постоянное жительство в деревню. С тех пор я уже не видал Голована. Потом наступило время учиться, и оригинальный мужик с большой головою пропал у меня из вида. И слышал я о нем только раз, во время «большого пожара». Тогда погибло не только много строений и движимости, но сгорело и много людей – в числе последних называли Голована. Рассказывали, что он упал в какую-то яму, которой не видно было под пеплом, и «сварился». О семейных, которые его пережили, я не справлялся. После этого я вскоре уехал в Киев и побывал в родимые места уже через десять лет. Было новое царствование, начинались новые порядки; веяло радостной свежестью, – ожидали освобождения крестьян и даже поговаривали уже о гласном судопроизводстве. Все новое: сердца горели. Непримируемых еще не было, но уже обозначались нетерпеливцы и выжидатели.

На пути к бабушке я остановился на несколько дней в Орле, где тогда служил совестным судьей³² мой дядя, который оставил по себе память честного человека. Он имел много прекрасных сторон, внушавших к нему почтение даже в тех людях, которые не разделяли его взглядов и симпатий: он был в молодости щеголь, гусар, потом садовод и художник-дилетант с замечательными способностями; благородный, прямой, дворянин, и «дворянин *au bout des ongles*»³³. Понимая по-своему обязательство этого звания, он, разумеется, покорствовал новизне, но желал критически относиться к эмансипации и представлял из себя охранителя. Эмансипации хотел только такой, как в Остзейском крае³⁴. Молодых людей он привечал и ласкал, но их вера, что спасение находится в правильном движении вперед, а не назад, – казалась ему ошибкой. Дядя любил меня и знал, что я его люблю и уважаю, но во мнениях об эмансипации и других тогдашних вопросах мы с ним не сходились. В Орле он делал из меня по этому поводу очистительную жертву, и хотя я тщательно старался избегать этих разговоров, однако он на них направлял и очень любил меня «поражать».

³² Совестный суд – учреждение в старой России, где спорные дела решались не по закону, а по совести судей.

³³ До кончика ногтей (*фр.*).

³⁴ То есть освобождение крестьян без земли.

Дяде всего более нравилось подводить меня к казусам, в которых его судейская практика обнаруживала «народную глупость».

Помню роскошный, теплый вечер, который мы провели с дядею в орловском «губернаторском» саду, занимаясь, признаться сказать, уже значительно утомившим меня спором о свойствах и качествах русского народа. Я несправедливо утверждал, что народ очень умен, а дядя, может быть, еще несправедливее настаивал, что народ очень глуп, что он совершенно не имеет понятий о законе, о собственности и вообще народ азиат, который может удивить кого угодно своею дикостью.

– И вот, – говорит, – тебе, милостивый государь, подтверждение: если память твоя сохранила ситуацию города, то ты должен помнить, что у нас есть буераки, слободы и слободки, которые черт знает кто межевал и кому отводил под постройки. Все это в несколько приемов убрал огонь, и на месте старых лачуг построились такие же новые, а теперь никто не может узнать, кто здесь по какому праву сидит?

Дело было в том, что, когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться и некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказалось, что у продавцов не только не было никаких документов, но что и сами эти владельцы и их предки считали всякие документы совершенно лишними. Домик и местишко до этой поры переходили из рук в руки без всякого заявления властям и без всяких даней и пошлин в казну, а все это, говорят, писалось у них в какую-то «китрать», но «китрать» эта в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее, – умер; а с тем и все следы их владенных прав покончились. Правда, что никаких споров по праву владения не было, но все это не имело законной силы, а держалось на том, что если Протасов говорит, что его отец купил домишко от покойного деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав Протасовых; но как теперь требовались права, то прав нет, и совестному судье воочию предлежало решать вопрос: преступление ли вызвало закон или закон создал преступление?

– А зачем все это они так делали? – говорил дядя. – Потому-с, что это не обыкновенный народ, для которого хороши и нужны обеспечивающие право государственные учреждения, а это номады³⁵, орда, осевшая, но еще сама себя не сознающая.

С тем мы заснули, выпались, – рано утром я сходил на Орлик, выкупался, посмотрел на старые места, вспомнил Голованов домик и, возвращаясь, нахожу дядю в беседе с тремя неизвестными мне «милостивыми государями». Все они были купеческой конструкции – двое сердовые³⁶ в сюртуках с крючками, а один совершенно белый, в ситцевой рубахе навыпуск, в чуйке и в крестьянской шляпе «гречником».

Дядя показал мне на них рукою и говорит:

– Вот это иллюстрация ко вчерашнему сюжету. Эти господа рассказывают мне свое дело: войди в наше совещание.

Затем он обратился к предстоящим с очевидною для меня, но для них, конечно, с непонятною шуткою и добавил:

– Это мой родственник, молодой прокурор из Киева, – к министру в Петербург едет и может ему объяснить ваше дело.

Те поклонились.

– Из них, – видишь ли, – продолжал дядя, – вот этот, господин Протасов, желает купить дом и место вот этого, Тарасова; но у Тарасова нет никаких бумаг. Понимаешь: никаких! Он только помнит, что его отец купил домик у Власова, а вот этот, третий, – есть сын господина Власова, ему, как видишь, тоже уже немало лет.

– Семьдесят, – коротко заметил старик.

³⁵ Номады (греч.) – кочевники.

³⁶ Сердовые – средних лет люди.

– Да, семьдесят, и у него тоже нет и не было никаких бумаг.
– Никогда не было, – опять вставил старик.
– Он пришел удостовериться, что это так именно было и что он ни в какие права не вступается.

– Не вступаемся – отцы продали.
– Да; но кто его «отцам» продал – тех уже нет.
– Нет; они за веру на Кавказ уланы.
– Их можно разыскать, – сказал я.
– Нечего искать, там им вода нехороша, – воды не снесли, – все покончились.
– Как же вы, – говорю, – это так странно поступали?
– Поступали, как мощно было. Приказный был лют, даней с малых дворов давать было нечего, а была у Ивана Ивановича китрать, в нее и писали. А допреж его, еще не за моей памяти, Гапеев купец был, у него была китрать, а после всех Головану китрать дали, а Голован в поганой яме сварился, и китрати сгорели.

– Это Голован, выходит, был у вас что-то вроде нотариуса? – спросил дядя (который не был орловским старожилом).

Старик улыбнулся и тихо молвил:

– Из-за чего же нотариус! – Голован был справедливый человек.
– Как же ему все так и верили?
– А как такому человеку не верить: он свою плоть за людей с живых костей резал.
– Вот и легенда! – тихо молвил дядя, но старик вслушался и отвечал:
– Нет, сударь, Голован не легенда, а правда, и память его будь с похвалою.

Дядя пошутил: и с путаницей. И он не знал, как он этим верно отвечал на всю массу воспрянувших во мне в это время воспоминаний, к которым при тогдашнем моем любопытстве мне страстно хотелось подыскать ключ.

А ключ ждал меня, сохраняясь у моей бабушки.

12

Два слова о бабушке: она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род «не за богатство, а за красоту». Но лучшее ее свойство было – душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся простонародный склад. Войдя в дворянский круг, она уступила многим его требованиям и даже позволяла звать себя Александрой Васильевной, тогда как ее настоящее имя было Акилина, но думала всегда простонародно и даже без намерения, конечно, удержала некоторую простонародность в речи. Она говорила «ехтот» вместо «этот», считала слово «мораль» оскорбительным и никак не могла выговорить «бухгалтер». Зато она не позволила никаким модным давлениям поколебать в себе веру в народный смысл и сама не расставалась с этим смыслом. Была хорошая женщина и настоящая русская барыня; превосходно вела дом и умела принять всякого, начиная с императора Александра I и до Ивана Ивановича Андросова. Читать ничего не читала, кроме детских писем, но любила обновление ума в беседах, и для того «требовала людей к разговору». В этом роде собеседником ее был бурмистр Михайло Лебедев, буфетчик Василий, старший повар Клим или ключница Маланья. Разговоры всегда были не пустые, а к делу и к пользе, – разбиралось, отчего на девку Феклушку мораль пущена или зачем мальчик Гришка мачехой недоволен. Вслед за таким разговором шли свои меры, как помочь Феклушке покрыть косу и что сделать, чтобы мальчик Гришка не был мачехой недоволен.

Для нее все это было полно живого интереса, может быть, совершенно непонятного ее внукам.

В Орле, когда бабушка приезжала к нам, дружбой ее пользовались соборный отец Петр, купец Андросов и Голован, которых для нее и «призывали к разговору».

Разговоры, надо полагать, и здесь были не пустые, не для одного препровождения времени, а, вероятно, тоже про какие-нибудь дела, вроде падавшей на кого-нибудь морали или неудовольствий мальчика с мачехой.

У нее поэтому могли быть ключи от многих тайностей, для нас, пожалуй, мелких, но для своей среды весьма значительных.

Теперь, в это последнее мое свидание с бабушкой, она была уж очень стара, но сохраняла в совершенной свежести свой ум, память и глаза. Она еще шила.

И в этот раз я застал ее у того же рабочего столика с верхней паркетной дощечкой, изображавшей арфу, поддерживаемую двумя амурами.

Бабушка спросила меня: заезжал ли я на отцову могилу, кого видел из родных в Орле и что поделывает там дядя? Я ответил на все ее вопросы и распространился о дяде, рассказав, как он разбирается со старыми «лыгендами».

Бабушка остановилась и подняла на лоб очки. Слово «лыгенда» ей очень понравилось: она услышала в нем наивную переделку в народном духе и рассмеялась.

– Это, – говорит, – старик чудесно сказал про лыгенду.

А я говорю:

– А мне, бабушка, очень бы хотелось знать, как это происходило на самом деле, не по лыгенде.

– Про что же тебе именно хотелось бы знать?

– Да вот про все это: какой был этот Голован? Я его ведь чуть-чуть помню, и то все с какими-то, как старик говорит, лыгендами, а ведь, конечно же, дело было просто...

– Ну, разумеется, просто, но отчего вас это удивляет, что наши люди тогда купчих крепостей избегали, а просто продажи в тетрадки писали? Этого еще и впереди много откроется. Приказных боялись, а своим людям верили, и все тут.

– Но чем, – говорю, – Голован мог заслужить такое доверие? Мне он, по правде сказать, иногда представляется как будто немножко... шарлатаном.

– Почему же это?

– А что такое, например, я помню, говорили, будто он какой-то волшебный камень имел и своею кровью или телом, которое в реку бросил, чуму остановил? За что его «несмертельным» звали?

– Про волшебный камень – вздор. Это люди так присочинили, и Голован тому не виноват, а «несмертельным» его прозвали потому, что в таком ужасе, когда над землей смертные фимиазмы стояли и все оробели, он один бесстрашный был, и его смерть не брала.

– А зачем же, – говорю, – он себе ногу резал?

– Икру себе отрезал.

– Для чего?

– А для того, что у него тоже прыщ чумной сел. Он знал, что от этого спасенья нет, взял поскорее косу, да всю икру и отрезал.

– Может ли, – говорю, – это быть!

– Конечно, это так было.

– А что, – говорю, – надо думать о женщине Павле?

Бабушка на меня взглянула и отвечает:

– Что же такое? Женщина Павла была Фрапошкина жена; была она очень горестная, и Голован ее приютил.

– А ее, однако, называли «Головановым грехом».

– Всяк по себе судит и называет; не было у него такого греха.

– Но, бабушка, разве вы, милая, этому верите?

- Не только верю, но я это знаю.
- Но как можно это знать?
- Очень просто.

Бабушка обратилась к работавшей с нею девочке и послала ее в сад набрать малины, а когда та вышла, она значительно взглянула мне в глаза и проговорила:

- Голован был девственник!
- От кого вы это знаете?
- От отца Петра.

И бабушка мне рассказала, как отец Петр незадолго перед своей кончиною говорил ей, какие люди на Руси бывают невероятные и что покойный Голован был девственник.

Коснувшись этой истории, бабушка вошла в маленькие подробности и припомнила свою беседу с отцом Петром.

– Отец Петр, – говорит, – сначала и сам усумнился и стал его подробнее спрашивать и даже намекнул на Павлу. «Нехорошо, говорит, это: ты не каешься, а соблазняешь. Не достойно тебе держать у себя сию Павлу. Отпусти ее с богом». А Голован ответил: «Напрасно это вы, батюшка, говорите: пусть лучше она живет у меня с богом, – нельзя, чтобы я ее отпустил». – «А почему?» – «А потому, что ей головы приклонить негде...» – «Ну так, говорит, женись на ней!» – «А это, отвечает, невозможно», – а почему невозможно, не сказал, и отец Петр долго насчет этого сомневался; но Павла ведь была чахоточная и недолго жила, и перед смертью, когда к ней пришел отец Петр, то она ему открыла всю причину.

- Какая же, бабушка, была эта причина?
- Они жили по любви совершенной.
- То есть как это?
- Ангельски.
- Но, позвольте, для чего же это? Ведь муж Павлы пропал, а есть закон, что после пяти лет можно выйти замуж. Неужто они это не знали?
- Нет, я думаю, знали, но они еще кое-что больше этого знали.
- Например, что?
- А например, то, что муж Павлы всех их пережил и никогда не пропадал.
- А где же он был?
- В Орле!
- Милая, вы шутите?
- Ни крошечки.
- И кому же это было известно?
- Им троим: Головану, Павле да самому этому негодивцу. Ты можешь вспомнить Фотей?
- Исцеленного?
- Да как хочешь его называй, только теперь, когда все они перемерли, я могу сказать, что он совсем был не Фотей, а беглый солдат Фрапошка.
- Как! это был Павлы муж?
- Именно.
- Отчего же?... – начал было я, но устыдился своей мысли и замолчал, но бабушка поняла меня и договорила:
- Верно, хочешь спросить: отчего его никто другой не узнал, а Павла с Голованом его не выдали? Это очень просто: другие его не узнали потому, что он был не городской, да постарел, волосами зарос, а Павла его не выдала жалеючи, а Голован ее любячи.
- Но ведь юридически, по закону, Фрапошка не существовал, и они могли жениться.
- Могли – по юридическому закону могли, да по закону своей совести не могли.
- За что же Фрапошка Голована преследовал?
- Негодяй был покойник, – разумел о них как прочие.

– А ведь они из-за него все счастье у себя и отняли!

– Да ведь в чем счастье полагать: есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное все перешагнет. Они же первое возлюбили паче последнего...

– Бабушка, – воскликнул я, – ведь это удивительные люди!

– Праведные, мой друг, – отвечала старушка.

Но я все-таки хочу добавить – и удивительные и даже невероятные. Они невероятны, пока их окружает легендарный вымысел, и становятся еще более невероятными, когда удастся снять с них этот налет и увидеть их во всей их святой простоте. Одна одушевлявшая их совершенная любовь поставляла их выше всех страхов и даже подчинила им природу, не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться с видениями, терзавшими св. Антония.

Владимир Соллогуб

Аптекарьша

I

Уездный город С. – один из печальнейших городков России. По обеим сторонам единственной грязной улицы тянутся, смиренно наклонившись, темно-серо-коричневые домики, едва покрытые полусогнившим тесом, домики, довольно сходные с нищими в лохмотьях, жалобно умоляющими прохожих. Две-три церкви – благородная роскошь русского народа – резко отделяются на темном грунте. Старый деревянный гостиный двор – хранилище гвоздей, муки и сала – грустно глядится в огромную непросыхающую лужу. Из двух-трех низеньких домиков выглядывают пьяные рожи канцелярских тружеников. Налево красуется кабак с заветною елкой, за ним острог с брусяным тыном, а вправо, на полуразвалившемся фронте, прибита черная доска с надписью:

«Аптека, Apotheke».

В один из тех печальных дней, когда кажется, что небо хмурится на землю, молодой человек сидел у окна одного из этих убогих домиков и сердито курил сигару.

На голове его была надета, по привычке набекрень, щегольская шапочка с кисточкой. Халат его, сшитый в виде длинного сюртука с бархатными отворотами, свидетельствовал о щеголеватости его привычек, а частые струи дыма в то же время ясно доказывали свирепость его душевного расположения.

Внизу на улице, у самого подъезда, стояла коляска без лошадей и почти до оси в грязи: около коляски нехотя суеился камердинер, вынимал поклажу и ворчал что-то сквозь зубы с самой ожесточенной физиономией.

Кругом собралось несколько мальчиков в немом удивлении, а напротив, на полупровалившемся тротуаре, стояла баба с коромыслом на плече и с вытаращенными глазами.

Молодой человек погрузился невольно в самые досадные размышления. «Теперь, – подумал он, – в Павловском вокзале готовится иллюминация. Herrmann играет вальсы, галопады и всякие попури; гусарские песенники поют, дамы ездят верхом; мои товарищи любезничают, а я сижу в этой трущобе; теперь наполнен французский театр, m-me Allan играет; товарищи мои слушают и хлопают, а я сижу в этом захолустье! А в субботу, в субботу бал на водах; там и О., и В., и Б.; товарищи мои будут с ними танцевать, они будут им улыбаться, будут с ними кокетничать, кокет-ни-чать... с ними будут!.. А я сижу в этой темнице, в этой ссылке, в этом заточении!»

Вдруг необычный шум на улице остановил порывы его негодования. Молодой человек высунулся из окна.

Под окном камердинер его Яков спорил с каким-то господином в пуховой фуражке и в венгерке с шнурками и кисточками, что, как известно, явный признак провинциального франта.

– Я тебя спрашиваю, чья коляска? – говорил франт.

– Я вам сказываю, что господская, – сердито отвечал Яков.

– Да чья господская?

– Ну, говорят вам, господская.

– Да чья же?..

– Ну господская. Все узнаете, скоро состареетесь.

– Что... что?.. Вот я тебя... Да нет, вот... возьми, братец, гривенник, скажи, голубчик, чья коляска?

- Не надо мне вашего гривенника. Любопытны слишком. Ступайте своей дорогой.
- Коляска моя! – закричал молодой человек из окна. – Что вам угодно?



Франт поспешно поднял голову и начал раскланиваться, стоя в грязи:

– Ах! Извините-с. Шел мимо-с. Вижу-с коляску отличной работы-с. Смею спросить: что изволили за нее дать-с?

– Три тысячи пятьсот, – отвечал молодой человек.

– Гм! Деньги хорошие. Смею спросить: с кем имею честь говорить?

– Барон Фиренгейм.

– Ах, помилуйте... Я вашего, должно быть, родственника очень знал-с; вместе в полку были. Позвольте быть знакомым.

И, не ожидая приглашения, франт опрометью бросился к крыльцу, а через мгновение очутился уж в комнате приезжего.

– Позвольте-с спросить: как вам приходится барон Газенкампф, который был у нас рот-мистром в полку?

– Моя фамилия не Газенкампф, а Фиренгейм, – отвечал, улыбнувшись, молодой человек.

– Ах! А мне послышалось – Газенкампф. Извините, пожалуйста. Какой у вас хорошень-кий халат; чай, теперь этикие халаты носят в Петербурге.

– Не знаю, право. Как кто хочет.

– Очень хороший фасон. Я попрошу у вас для выкройки. По делам службы изволили, вероятно, к нам приехать?

– Да-с.

– Я вам должен доложить: я с здешними господами служащими никакого дела не имею и в глаза почти не знаю. Городничий наш, Афанасий Иванович, – изволите его знать? – добрый человек, только слаб немножко, за купцами ухаживает; впрочем, многого не возьмешь: у нас купечество себе на уме. Сами так исправно воруют, что любо. Вы их еще не изволите знать? Криворожий, Надулин, Ворышев – лихой народ, нечего сказать. Исправник наш добрый чело-век, да попивает. Судья так себе, зато уж стряпчий молодец, а впрочем, я их знать не знаю. Что это у вас, часики на столе?

– Часы.

– Ах, позвольте взглянуть. Какая прелесть! Что за цепочка! Нам, провинциалам, этиких вещей и во сне не видать.

– У вас, кажется, тоска нестерпимая в вашем городе?

– Да-с, сказать правду. Хуже быть не может. Вот то ли дело в Т. Сто верст всего отсюда. Дворяне живут в городе, и купечество зажиточное, а здесь просто пустыня; впрочем, в два-дцатом году здесь было рекрутское присутствие, так тоже весело жили. Даже, говорят, дворян-ское собрание было в доме, что нынче аптека. Были балы; помещики съезжались. Очень было весело. Жидовская была музыка. До сих пор вспоминают.

– Как, неужели у вас нет ни одного дома, где бы можно было провести вечер?

– Нет-с, с двадцатого года здесь никто из дворян не живет... Да, бишь, предводитель наезжает иногда.

– Женатый человек? – спросил поспешно барон.

– Нет-с, холостой. Это туалетный прибор у вас на столе?

– Да-с.

– Серебряный или аплике?

– Серебряный.

– Ах, позвольте взглянуть. Как хорошо! Какая работа! Дорого изволили дать?

– Не помню, право.

– Отличная вещица! Я еще такой не видывал. А эти пилочки на что?

– Для ногтей.

– Уж чего теперь не выдумают! Надо сказать правду.

– Да что же вы здесь делаете? – спросил с отчаянием молодой человек.

Господин в венгерке взглянул на него с удивлением.

– Да ничего-с.

– Как же вы здесь живете?

– Да я у помещиков гощу большею частью. Свою деревеньку я продал, так живу себе поневоле иногда в городе, а то в гостях всегда.

– И вы ни с кем здесь не знакомы?

– С служащими я не веду особенного знакомства, а так иногда захожу к Францу Ивановичу.

– А кто это Франц Иванович?

– Франц Иванович?..

– Да!..

– Наш аптекарь.

– Ученый человек?

– А бог его знает. Человек добрый. Жена у него немочка прехорошенькая, хотя бы в столицу; и там скажут, что недурна.

– Хорошенькая!..

– Очень недурна-с. Только жаль, что по-русски плохо говорит: понимает-то понимает, а уж разговаривать – слуга покорный.

Лицо молодого барона прояснилось. Мысль о хорошенькой женщине так могуча в юные годы! Весь город показался ему не так отвратителен. Изломанные крыши сделались живописными. По грязной улице очертились протоптанные тропинки. Барон вздохнул свободнее. В эту минуту парные дрожжи остановились у подъезда.

– Городничий, – сказал с некоторым смущением франт в венгерке. – Извините, что я вас побеспокоил. Позвольте быть знакомым.

Засим, поклонившись почтительно барону и еще почтительнее входящему городничему, любопытный провинциал вышел на улицу, осмотрел со всех сторон коляску, заглянул под фартук и отправился домой, сопровождаемый глухою бранью камердинера Якова.

Выпроводив городничего, квартировавшего некогда с полком в Белоруссии и почитавшего непреложною обязанностью с того времени перевозносить полек, к явной обиде наших православных дам, молодой барон кликнул Якова и начал одеваться.

Полчаса тому назад он бы и не взглянул на подаваемое ему платье, но теперь он назначил и сюртук, и жилет, и галстук и вынул из дорожного ящика большую жемчужину в золотой лапе, которой лапой он заколол пестрый шарф, обвивающий его шею. Одевшись таким образом, он вышел прогуляться, подышать свежим воздухом и неприметно отправился прямехонько к аптеке.

Сперва он внимательно осмотрел странную архитектуру дома, где некогда уездное дворянство выплясывало под жидовскую музыку; потом раз пять прочитал надпись:

«Аптека, Arotheke», потом обошел раза два дом со всех сторон, потом пошел далее. У него не доставало храбрости войти в аптеку без причины, и в эту минуту он дорого бы заплатил за какой-нибудь незначительный недуг, принудивший его к требованию врачебных пособий.

У светских людей, несмотря на их наружную неустрашимость, часто бывают минуты подобной нерешительности, в которых они, впрочем, душевно раскаиваются и никогда никому не сознаются. Через полчаса молодой барон, как бы влекомый неодолимым магнитом, опять подошел к аптеке, посмотрел в окна, остановился, хотел завернуть на крыльцо и опять прошел далее. Сердце его билось. Наконец ему стало стыдно самого себя. Как возмущившийся трус, он вдруг повернул назад и натолкнулся на нового своего знакомого-франта, который выходил из аптеки.

– А я от Франца Иваныча, – сказал франт, – ходил ему сказывать, что вы приехали. Он говорит, что он в университете был с одним бароном Фиренгеймом, лет шесть назад.

– Это я. Других Фиренгеймов нет.

– Ну, так он вас знает.

– Право?

– Что это у вас, жемчуг в булавке?

– Да.

– Ах! Позвольте взглянуть. Какая работа отличная! Уж чего не придумают! Давай только денег. Где нам, провинциалам, иметь такие вещи! Вас и Шарлотта Карловна знает.

– Право? – воскликнул барон и опрометью бросился на крыльцо, оставив собеседника в порыве грустного размышления и самопознания.

Аптека была устроена с некоторою щеголеватостью.

Полки по стенам, бутылки и стеклянки с латинскими надписями, ящики где следует, конторка, весы; одним словом, фармацевтическая декорация была самая приличная и доказывала аккуратность распорядителя. В передней, просто обитой тесом, пожилая баба толкла что-то в ступе, а у самых дверей стояло двое мальчишек, присланных один за бузиной на десять копеек, а другой за ревенем на гривенник.

У конторки сидел аптекарь, небольшой человек с кудрявою рыжею головкою и с самой добродушной физиономией; усердно записывал он расход своим травам и скудный приход выручаемых копеек с такою же отчетливостью, как будто дело шло о миллионах. Подняв нечаянно голову, он вдруг увидел стоящего перед ним столичного щеголя, который, укротив мгновенный пыл своей решительности, стоял в недоумении, не зная, чем начать разговор.

– Что вам угодно? – спросил аптекарь.

Щеголь еще более смешался. Нельзя же было ему сказать, зачем он действительно пришел.

– Я... – отвечал он, – хотел бы содовых порошков.

– У нас, – отвечал аптекарь, – соды не требуют, а оттого мы ее и не держим. Здесь не столица, – прибавил он, улынувшись, – требуют только дешевенького.

– Мы, кажется, были вместе в университете, – сказал, приободрившись, барон.

– Да-с... Только мы знакомы не были, а я вас очень помню: вы были ландсманом, а я был буршеншафтером³⁷. К тому же факультеты у нас были различные.

– Точно.

– Я вас на фехтбоденах³⁸ видел. Только вы так переменились, что я никак бы вас не узнал. Прежде вы ходили совершенным буршем, а теперь вы такой щеголь...

– Живу в другом мире, поневоле переменишься.

– А знаете ли, господин барон, вы никак не ожидаете встретить здесь старую знакомую?

– Как?..

– Вот сейчас увидите. Эй! Шарлотта Карловна, Шарлотта Карловна! Будь так добра и поди сюда.

– Я совсем по-утреннему одета, – отвечал женский голос.

Сердце барона забилося.

– Полно, Шарлотта Карловна, церемониться, здесь знакомый.

Барон невольно уставил глаза в двери. В соседней комнатке послышались шаги, легкий шорох поспешного туалета, наконец шаги стали приближаться, дверь распахнулась, и у дверей показалась аптекарша...

– Как, вы здесь? – воскликнул барон.

– Да, – сказала аптекарша, покраснев и вздохнув невольно. – Это я. Давно мы с вами не видались, господин барон.

II

Перенесемся теперь в другой городок, в другую землю, к другому времени, за несколько лет перед началом моего рассказа.

Городок, в который я вас хочу перенести, читатель мой благосклонный, совсем не похож на тот, которым я так грустно начал повесть свою об аптекарше. В этом городке все дышит какой-то умственной деятельностью и душевным молодым разгулом. По улицам толпятся молодые люди в коротких плащах и дружно толкуют между собою. Другие, с тетрадами и кни-

³⁷ Ландсман, буршеншафтер – названия студенческих корпораций.

³⁸ Залы фехтования (прим. авт.).

гами под мышками, спешат на голос благовествующей науки, тогда как за белыми занавесками хорошенькие личики, с ярким румянцем на щеках, украдкой на них поглядывают.

Университетские годы! Годы молодости, годы невозвратимого братства, когда в каждом товарище видишь друга, в каждой науке видишь достигаемую цель, в каждой женщине – высокое олицетворение мечтаемого идеала! Скоро проходите вы, годы неумолимые; но душа долго на вас оглядывается, долго вами любитесь и хранит вас вечно, как драгоценное свое сокровище, сокровище теплых вдохновений и чистых, высоких помыслов.

Недалеко от деревянного моста, в кривой узенькой улице существует, вероятно, и поныне низенький деревянный домик с большим двором и небольшим надворным строением. В домике немного комнат, и те убраны без роскоши, даже скудно; но в них обитает спокойствие, которого нельзя приманить ни лионскими обоями, ни парчовыми занавесками. Из передней вы входите в гостиную, устроенную по заветному преданию. У главной стены, в математической середине, стоит диван, обитый черной волосяной материей и с выгнутой спинкой красного дерева; перед диваном овальный стол, покрытый клеенкой, на котором стоят два подсвечника и щипцы; по бокам дивана по три кресла, обтянутые также плетеным волосом; между окнами два ломберных стола; к боковой стене приставлено фортепьяно; с другой стороны несколько стульев; над диваном два литографированные портрета знаменитых германских ученых да с обеих сторон дверей по одной медной лампе, прибитой к стене; пол дощатый, не крашенный, но чисто вымытый; стены просто выбелены – это гостиная. Подите дальше: с пола до потолка со всех четырех сторон поделаны полки простого дерева; на полках громоздятся книги всех видов и переплетов; огромные фолианты, как фундаменты науки, лежат в самом низу; прочие книги укладываются над ними плотной стеной; посреди комнаты письменный стол, заваленный бумагами и книгами, – это кабинет ученого, кабинет немецкого профессора, что обнаруживается педантическим кокетством учености, отличающим главную комнату дома. За этим кабинетом каморка, где отдыхает профессор после дневных трудов своих, а далее небольшая комната его дочери, пятнадцатилетней девочки, только что расцветающей свежеею красотою на радость отцу и обожание студентам.

В надворном строении, против окон молодой девушки, поделаны расчетливым хозяйством небольшие комнаты, нанимаемые студентами по семестрам за сходную цену. В сравнении с этими комнатами скромное жилище профессора – чудо роскоши!

Если вы были студентом, мой читатель, то вспомните мебель вашей студенческой квартиры – и нехотя вы улыбнетесь и вместе вздохнете, потому что вы готовы отдать всю лавку Гамбса за тот изорванный диван, за те изломанные стулья, на которых вы были молоды, полны надежд и огня, полны любви и восторга. Что за жизнь в студенческой комнате! Сколько значения!

Сколько прекрасного и смешного! Сколько разгульного и глубокого вместе! Тут череп и человеческие кости, там пестрые шапки, огромные трубки, рапиры, карикатуры на стене; с другой стороны громады тетрадей и книг; далее – бутылки и стаканы, карты, дубины, плащи, вассерштифели³⁹ и большой белый пудель, который, важно выставив морду, глядит на все спокойными глазами хозяйского друга.

В первом семестре 18** года на студентской квартире поселился только что приехавший Maulesel⁴⁰, курляндский юноша, барон Фиренгейм. Вскоре, по странной академической терминологии, лошак превратился в лисицу, то есть из недорослей вступил в звание студента первого семестра и получил право гражданства в этом фантастическом мире, где так много высокого и так много комического, что оба начала срослись вместе и стали нераздельны. Оглядевшись со всех сторон, напившись пьян на приемном торжестве, надев пеструю фуражку, заплатив за

³⁹ Вассерштифели – высокие сапоги (нем.).

⁴⁰ Лошак (нем.).

коллегии, испытав силу руки своей в махании рапиры, молодой барон рассудил, что, чтоб быть полным студентом, ему оставалось еще одно – влюбиться. Барон был то, что в полках и учебных заведениях называют добрым малым: не отставал ни от кого, с пьяными готов был пить, с рубками рубиться, с картежниками играть, с трудолюбивыми углубляться в науку, с лентяями ничего не делать. От этой сговорчивости терялась, может быть, самостоятельность его характера и уменьшалась к нему степень уважения товарищей, всегда привлекаемых положительным и резко выраженным нравом; но зато недостаток этот искупался поэтической теплотой сердца, любовью ко всему прекрасному, умом проницательным, которому при напряжении мало оставалось недоступного; одним словом, природа его была благородная, часто возвышенная, но всегда нравственно аристократическая.

Для дополнения своего студенческого бытия молодому барону, казалось бы, идти недалеко: против его окон, с другой стороны двора, белелись две чистенькие занавески, а за ними выглядывало розовое личико пятнадцатилетней девочки, с большими темно-синими глазами, с длинными шелковистыми ресницами, с детской задумчивой головкой. Молодой человек мог следить за всеми ее движениями. Утром мог он видеть, как, надев черный передник и коленкорную шляпку, она укладывала свои книжки в мешок и отправлялась в школу, стыдливо потупляя глаза от нескромных взоров любопытных студентов. Потом приходила она домой и помогала толстой кухарке в хозяйских распоряжениях. Мать ее уж несколько лет как скончалась, оставив ее ребенком, а отец ее, профессор, старик, погруженный в книги и ученым, во всем на нее полагался. После скромного обеда она садилась за фортепьяно, играла кое-как старинные сонаты и, если сказать правду, пела довольно плохо немецкие романсы из собрания, известного под названием «Arion». Потом она иногда прогуливалась с отцом. Вечером старик закуривал сигару и забавлялся чтением ученых журналов, а она уходила в свою комнату; свечка зажигалась за белыми занавесками, и уединялась в свое смиренное святилище. Тогда она занималась завтрашним уроком, письмом к приятельнице, узором для вышивания или читала любимого поэта.

Случалось, что перо ее останавливалось, книга выпадала из рук, головка ее, осененная густыми локонами, невольно упиралась на ручку, и она задумывалась о чем-то неразгаданном, как будто одолеваемая мучительным, но в то же время сладким предчувствием.

Тогда она долго сидела в бездействии: ей было то неясно весело, то неизъяснимо грустно, то улыбка без причины оживляла ее детское личико, то неожиданная слеза навертывалась на ее глазах. Она тихо вставала. Стройная тень рисовалась на занавесках. Свечка гасла. В доме профессора водворялась тишина.

Наступала ночь.

Зачем же было идти далее молодому студенту? Неужели хорошенькое личико, пятнадцать лет, скромная поступь, влажный взгляд, неужели поэтический призрак, веющий около германской девушки, не были достаточны, чтоб остановить его внимание, приковать его сердце?

Увы! Студент мой родился бароном, бароном немецким, с гербом в три аршина, прибитым на колоннах старой соборной кирки, во славу его баронского достоинства. Студент мой рожден богатым наследником, что, замечу мимоходом, между немецкими баронами почти неслыханное чудо, совершившееся в его пользу, к великому удивлению и зависти всех соплеменников его.

Эти два обстоятельства, сопряженные с его природным аристократическим свойством, развили в нем какое-то неодолимое, жеманное чувство, гнушающееся всякого жестокого столкновения с существенными подробностями небогатого житейского быта. Бедный молодой человек, на идеальный предмет своих мечтаний, на нежного спутника, парящего на невидимых крыльях в тумане юношеского воображения, он надевал свою баронскую корону, облакал его в

модные ткани, подкладывал ему под ноги английские ковры и влагал ему в уста, безрассудный, вместе с выражениями страсти бессмысленные речи светского пустословия.

С такой несчастной склонностью мудрено ли, что он глядел на свою соседку если не совсем равнодушно, то без всякого душевного восторга. Коленкоровая шляпка казалась ему чересчур противною всякому мощному приличию, а камлотовый мешок с книгами разверзлся в его мнении могилой для поэзии. К тому же он видел, как молодая девушка сама по утрам принимала провизию на кухню, взвешивала рыбу, осматривала овощи, а потом долго торговалась и платила медными деньгами; кроме того, он заметил, что на ней по будням было ситцевое платье всегда одно и то же и что по воскресеньям она надевала платье белое перкалевое, и хотя она была хороша в нем, как ангел, хотя все любовались ею, от мала до велика, от суперинтенданта до последнего гимназиста, но молодой барон один припоминал с досадою, что она это платье сама шила, сама гладила и берегла как глаз, потому что другого у нее не было.

А вечером, когда, утомленная учением и хозяйственными заботами, она удалялась в свою комнатку и свечка загоралась за белою занавеской, казалось, как бы не устремиться очами и душой к таинственному свету, казалось, как бы не перелететь вдохновенною мыслью в ее уютный уголок и не повергнуться в прах перед ее ликом, сияющим небесною кротостью. Увы! Барон не мог забыть, что свечка, таинственно освещающая ее комнатку, не что иное, как сальный огарок, что кровать ее из простого некрашеного дерева, что белье ее грубое и что, засыпая, она, вероятно, покрывается изношенным салопом.

Несмотря на то, он воспользовался правом соседа, и, выбрав, как водится, праздничный день, надел черный фрак и белые перчатки и ровно в двенадцать часов отправился к профессору с визитом. При входе он заметил в полузахлопнутой двери любопытную головку профессорской дочери – и ему стало досадно сперва за то, что она показалась, а потом за то, что она спряталась.

– Mein junger Freund⁴¹, – сказал ученый доктор *utriusque juris*⁴², добродушно выдвигая очки и нос из груды запыленных бумаг. – Добро пожаловать. Вы камералист, кажется?

– Нет-с, дипломат.

– А!.. – *diplomatiae cultor*⁴³. Вы слушаете лекция моего ученого друга Беккера?

– Так точно.

– Вы прилежно занимаетесь?

– Иногда-с.

– Занимайтесь, мой молодой друг. В науке – семя всего доброго и высокого. Не тратьте времени по-пустому: время – наш капитал самый драгоценный. *Ars longa, vita brevis*⁴⁴. Вы сосед наш, кажется?

– Имею эту честь.

– Прошу быть без церемоний: мы здесь не в столице; а без лишних слов, если я могу вам быть чем полезен, то располагайте мною. У меня есть редкие издания... да-с, сочинения, которые надо поискать, да, поискать, – прибавил профессор с чувством самодовольствия. – Будемте добрыми соседями.

Он протянул руку студенту с непритворным радушием.

«Добрый человек», – подумал барон, невольно тронутый ласковым приемом.

– Знаете что: если вам не скучно с стариком, откушайте с нами.

⁴¹ Мой молодой друг (*нем.*).

⁴² Обоих прав (*лат.*).

⁴³ Служитель дипломатии (*лат.*).

⁴⁴ Искусство долго, жизнь коротка (*лат.*).

По странному противоречию, молодой человек сперва обрадовался. «Я ее увижу, – подумал он, а потом присовокупил: – А уж не замышляет ли этот ходячий фолиант сблизить меня с своей дочерью, даже, чего доброго, женить на ней, считая на мое будущее наследство.

Он, верно, знает, что я буду богат».

Но поистине профессор не знал о том ни полслова.

Он любил молодых людей и желал им быть полезным, где только мог. Студент принял приглашение, раскланялся и возвратился через час. Толстая служанка накрывала на стол. Профессор в длинном оливковом сюртуке и в белом батистовом галстуке бодро ходил по комнате, а у окна сидела его дочь и вязала чулок. При входе гостя она покраснела, привстала и присела довольно неловко. Профессор начал говорить о погоде в ученом отношении и пригласил садиться за стол.

Увы! Служанка принесла в миске кашу под названием офен-гриц с молочной прихлебкой. Профессор принялся кушать с наслаждением, дочь его – с явным удовольствием; один барон прихлебывал с горестным чувством. Плохой обед, даже подле существа любимого – дело неприятное, когда есть хочется. Не оттого ли это, что любовь проходит, а аппетит – никогда.

После офен-грица подали кусок говядины, плавающий в масле, с полусырым картофелем; потом блинчики с творогом довершили обед, в продолжение которого не было разговора, кроме потчевания молоком, соусом и мелким сахаром.

– Ну, Шарлотта, – сказал вдруг профессор, – принеси-ка нам бутылочку в честь нашего молодого друга.

Шарлотта вышла и через минуту возвратилась с продолговатой бутылкой отличного рейнвейна, до которого ученый, как все ученые, был большой охотник.

Рейнвейн и сигары были его отдохновением, единственной его роскошью, для доставления которой дочь его, пятнадцатилетний ребенок, круглый год считала и берегла копейки, лишала себя всех прихотей, свойственных ее возрасту, носила все то же ситцевое платье по будням и белое по воскресеньям и торговалась упорно в цене жизненных припасов, но зато сигары выписывались из Гамбурга, а вино – от берегов Рейна, посредством одного ученого друга и великого знатока. Барон всего этого не понял.

За рюмкою вина, в особенности отечественного, немец оживляется, молодеет, рассказывает, и, как дитя тешится игрушкой, он тешится своей стариной. Два часа прошло незаметно. Профессор рассказал свои экзамены, свои труды, свои знакомства с учеными германскими друзьями, свою буйную молодость, свою немую любовь, свою женитьбу, свою тихую и трудолюбивую жизнь и заключил горячей слезой памяти незабвенной подруги.

Студент слушал со вниманием. Добрая сторона души его понимала, что было хорошего в беспорывной жизни немца, и, по невольному переходу, останавливалась на безмятежном лице его дочери. В нем отражалось такое отсутствие суетных волнений, такое эпическое спокойствие, что бунтующая кровь мгновенно при ней утихала и мысли, увлеченные к земному, невольно воспаряли к высшему источнику. Одолеваемый двумя противными чувствами, барон не мог понять самого себя. Смотря на Шарлотту, он чувствовал, что должен бы ее любить.

Смотря на все окружавшее ее, он чувствовал, что он любить ее не мог. Без нее ему было грустно, при ней – досадно. Бывало, он заглядывался на ее темные очи, отуманенные густыми ресницами, и на крыльях воображения переносил ее в дивный мир фантазии, где все гармония, и поэзия, и счастье. И вдруг грустное напоминание жизни разрушало его мечты. Офен-гриц на столе, заплатка на платье, употребление щипцов над сальной свечкой, сожаление о дороговизне капусты обдавали его морозом. Каждый вечер он решительно намеревался не посещать более профессора, а на другой день он снова был уже у соседей, пил рейнвейн, курил сигары и играл с Шарлоттой сонаты в четыре руки.

Прошло несколько месяцев. По ученому городку, по примеру прочих грешных городков, пошли сплетни и провозгласили, с дополнениями и комментариями, молодого барона жени-

хом. Узнав о том, как водится, последний, он, как добрый малый и честный человек, душевно огорчился. Женитьба казалась ему далекою пристанью после долгого странствования, а он снаряжался еще только в путь. Несмотря на то, мысль, что другой может жениться на Шарлотте, была ему неприятна до чрезвычайности; но надо ему отдать справедливость: он поборол самого себя, быть может, оттого, что был еще молод и пылок для всего хорошего, что, к сожалению, изменяется с возрастом. Он вдруг прекратил свои посещения и для развлечения бросился в полное раздолье студентской жизни.

А студентская жизнь, друзья мои, эта вечно кипящая чаша, кого не рассеет и не утолит? Закутил молодой барон. Пригнул шапку набок, вооружился дубиной и пошел по комершам⁴⁵ и по фехтбоденам под руку с самыми отчаянными буршами. Вскоре имя его, дотоле почти неизвестное, загремело на всех перекрестках; молодые фуксы стали глядеть на него с почтением, а городские девушки с явным любопытством. Но как он ни желал влюбиться и как ни легко это в его лета, он никак не мог совестливо исполнить своего желания. Та была хороша, да дочь булочника, другая казалась всем привлекательна, да он заметил однажды, что руки ее были недостаточно вымыты; одна была мала слишком, другая слишком велика; одна недовольно черноволоса, другая слишком белокура, словом, проходя по всей шеренге местных красавиц, душа его останавливалась с нежностью только на дочери профессора, но и ту, как мы видели, он мог любить только урывками, оскорбляясь ежеминутно жестокими столкновениями с шероховатостями прозаической жизни.

Что же происходило тогда в сердце молодой девушки? К чему это отгадывать? Она все жила по-прежнему тихо и однообразно, только тщательнее отворачивалась от барона, когда встречала его на улице, и дольше стала засиживаться по вечерам, оставаясь одна в своей комнате. Барону казалось при редких ее встречах, что она на него сердится, и это было ему досадно.

«С какого права?» – думал он. Однако ему, вероятно, было бы еще досаднее, если б она не сердилась на него вовсе. Жизнь его катилась в шумном забытьи. Поутру он слушал рассеянно какую-нибудь лекцию, потом отправлялся на фехтбоден заниматься, по выражению Языкова, головоломным искусством, потом веселая ватага отправлялась обыкновенно на шулвагенах за город с вином и песнями и ликовала всю ночь с буйными восклицаниями.

Однажды университет праздновал день своего основания. Студенты с бутылками, привешенными к пуговицам сюртуков, отправились по партиям к загородным корчмам. Барон, нарядившись также ходячим погребом, к явному удовольствию своих товарищей, вмешался в буйную толпу и не возвращался целый день. Напрасно дочь профессора украдкой поглядывала из-за занавески, ожидая с трепетом, что бедного ее соседа приведут под руки на квартиру. Наступил вечер. Все окна мигом иллюминировались в честь торжества, под опасением неумолимого разбития. По всем направлениям города начали раздаваться веселые хоры, которые подвигались с факелами к зданию академии и провозглашали ей громогласный *vivat*.

Все городские обыватели стояли у ворот своих домов и с любопытством посматривали на буйную веселость академических именин. Крик, топот, песни не умолкали ни на минуту. К дому профессора прихлынула ватага полупьяных буршей.

– А знаете, – сказал хриплый голос, – он, старый хрыч... был неучтив вчера в коллегии. Право, неучтив.

Право, ну... я шаркать начал... моя воля... Не правда ль, моя воля?.. Так. А он вдруг говорит, старый хрыч, чтоб я не мешал. Мешаю будто другим слушать. Ведь это грубость?

– Грубость, – сказали несколько голосов.

– Ну, так за чем же дело стало, *pereat*⁴⁶ ему!

⁴⁵ Студенческие пиры (прим. авт.).

⁴⁶ Смерть (лат.).

– Pereat! – закричала толпа с такими ужасными воплями, что стены ближних домов чуть не пошатнулись.

Профессор, сидя спокойно за своим письменным столиком, побледнел. «Уж не мне ли? – подумал он. – Нет, это, верно, моему ученому и бедному другу».

– Silentium⁴⁷, бурши! – закричал другой голос. – Грех вам и стыд обижать невинного старика. – Что... что?..

– Притеснял ли он когда-нибудь кого? Был ли он когда врагом студентов? Не трудился ли он всю жизнь для вас? А вы вместо благодарности хотите отплатить проклятием. Стыдно, ребята!

– Фиренгейм прав! – сказал кто-то.

– У старика хорошенькая дочь, – заметил другой.

– Виват! – закричали все. – Vivat! Vivat! Vivat!

– Crescat, floreat in aeternum!⁴⁸

– Это, господин барон, тебе так не пройдет, – сказал сердито хриплый голос. – Я филистер. Со мной не угодно ли прогуляться в круглых шляпах?

– Хоть на пистолетах, – отвечал Фиренгейм.

– Ну, пожалуй, на пистолетах.

– Нет, – сказал кто-то из старейшин, – на шлегерах!.. Обиды кровной нет.

– Vivat! – кричала толпа. – Vivat! Vivat!

За окнами показались блуждающие огни. Потом одно окошко поспешно отворилось, показался профессор и смущенным голосом начал благодарить студентов.

Между ними воцарилось глубокое молчание. Профессор описал свою академическую жизнь, свое ученое стремление, свою любовь к студентам и заключил, что, доживая до преклонных лет, лучшей его отградой была мысль, что труды его не совсем пропали для молодых его друзей. Между тем к толпе почтительно слушающих студентов прихлынули другие. По окончании речи виваты, как трескучий гром, начали перекатываться по воздуху. В одно мгновение факелы брошены в одну груды, и веселый огонь озарил палящими переливами радостный пир молодости и подгулявшей науки. Профессор выкатил весь свой погреб и тешился как дитя.

С сверкающими глазами он жал у всех руки, потчевал непьющих лучшими сигарами и отдал весь рейнвейн свой до последней бутылки.

Через несколько дней Фиренгейма привезли без чувств домой. Грудь его была прорублена до самого плеча.

Когда он начал приходить в себя, в глазах его и в душе было еще темно и туманно; но в неясном тумане обозначались едва заметно нежные черты, и двое влажных очей, как отуманенные звезды, казалось, притягивали его к жизни. Мало-помалу странное видение между существенностью и сном стало определеннее: черты обозначились яснее. Так это она точно, она, дочь профессора, которая с трепетным волнением стояла у изголовья раненого.

– Очнулся! – сказала она шепотом и покраснела до ушей. – Теперь я не должна здесь оставаться.

Бедная Шарлотта вздохнула.

Отец ее, стоявший за ней, посмотрел на раненого опытным взглядом знатока.

– Какой славный удар! – сказал он. – Какая ужасная винкелькварта! Бедный мой друг, если вам захочется супу, то пришлите ко мне.

⁴⁷ Тише (лат.).

⁴⁸ Честь и слава в веках! (лат.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.